

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

The background of the cover is a textured, reddish-brown illustration. On the left, a donkey is depicted in profile, facing left. To its right, a figure stands, possibly a man, wearing a wide-brimmed hat and a long coat. The overall style is reminiscent of a woodcut or a heavily textured painting. The text is overlaid on this background.

Хуан Рульфо
Педро Парамо.
Равнина в огне

[classica]

CoRpus

Annotation

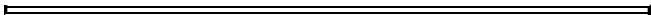
Роман мексиканского писателя Хуана Рульфо (1918–1986) «Педро Парамо» увидел свет в 1955 году. Его герой отправляется на поиски отца в деревню под названием Комала — и попадает в царство мертвых, откуда нет возврата. Чуть раньше, в 1953-м, был напечатан сборник «Равнина в огне», состоящий из пятнадцати рассказов и как бы предваряющий роман. Вместе получилась не слишком большая книжка — однако ее автор не только безоговорочно признан крупнейшим латиноамериканским прозаиком, но

и не раз назывался в числе авторов, сильнее всего повлиявших на прозу XX века. И в таких оценках нет преувеличения. Габриэль Гарсиа Маркес откровенно писал, что учился именно у Рульфо: «...не один раз перечитав его произведения, я наконец-то нашел тот путь, который так долго искал, — и тогда смог продолжить работу над собственными книгами». Позднее он сказал: «„Педро Парамо“ — это самый прекрасный из всех романов, какие когда-либо были написаны на испанском языке».

- [Хуан Рульфо](#)
- [Нам дали землю](#)

- На кумушкином взгорье
- А все от того, что мы бедные
- По следу
- На рассвете
- Тальпа
- Равнина в огне
- Скажи, чтобы они не убивали
меня!
- Лувина
- В ту ночь, когда он остался один
- Помнишь?
- Прислушайся, не лают собаки?
- Северная граница
- Анаклето Моронес
- notes
 - 1
 - 2
 - 3

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10



Хуан Рульфо

Равнина в огне

рассказы

Я сижу около канавы и дожидаюсь, когда покажутся лягушки. Вчера ужинали мы, а они как расквакаются. До самой зари не затихали. Крестная встала и говорит: «Я из-за ихнего кваканья всю ночь глаз не сомкнула, теперь хоть пойду сосну». Вот она меня сюда и послала, и доску велела взять: лягушка выпрыгнет, а я ее хлоп — и готово... Лягушки — зеленые; все у них зеленое: и голова, и спинка, и

лапки, одно брюшко — белое. Жабы — те черные. Как у крестной глаза. Лягушек есть можно, они вкусные. Жаб — нельзя. Но я не гляжу, ем, их на вкус не отличишь от лягушек. Это Фелипа говорит, жаб есть нехорошо. А у Фелипы глаза зеленые, как у кошки. Снедать мне Фелипа дает, на кухне. Фелипа не велит убивать лягушек, да ничего не поделаешь, хозяйка-то ведь — крестная, раз она приказала, я обязан исполнить... Фелипу я больше люблю, чем крестную. Зато крестная из своего кошелька выдает Фелипе деньги на съестные припасы. Фелипа весь день на кухне возится, стряпает на нас троих, одним этим и занимается.

Сколько помню, оно так всегда было. А мое дело — мыть посуду. И еще: запастись дрова для плиты, это тоже мое дело. Когда все сготовлено, еду делит крестная. Сперва сама поест, а что останется, своими руками на две части поделит: мне и Фелипе. Фелипа другой раз есть не хочет, тогда обе половинки достаются мне. Оттого-то я Фелипу и люблю, я ведь весь день голодный хожу, никак не наесться. Хоть она мне и свое отдаст, а я все равно голодный. Говорят, если поесть вволю, будешь сытый. А я знаю, мне сколько ни давай — сыт не буду. И Фелипа про это знает... У нас на улице меня обжорой полоумным прозвали, оттого что я все ел бы да

ел. Это крестная от людей слыхала. Сам-то я не слышал. Крестная не пускает меня на улицу одного. А с собой редко-редко когда возьмет, и то только если в церковь идет, к мессе. Да и в церкви посадит меня рядом с собой и руки концами своей шали замотает. Зачем она мне их заматывает, не знаю. Говорит, будто я озорую. Выдумали на меня, что я чуть тетеньку одну не задушил, взял ее сзади за шею да пальцами как стисну. Я такого не помню. Ну, да ничего не поделаешь, раз крестная говорит, что озорничал, стало быть, озорничал, не станет же она выдумывать. Она всегда правду говорит. Есть позвала, значит, точно

мне мою долю выдаст. Не то что другие. Приглашают: заходи, заходи, угостим, а сами, только к ихним дверям сунешься, камнями в тебя, как в собаку. Хорошо угощение! Рад, если ноги унесешь подобру-поздорову. Нет, крестная ко мне всегда по-хорошему. Я у нее всем доволен. А главное, я тут около Фелипы. Она жалеет меня, заботится. За это я ее и люблю... У Фелипы молоко сладкое, как сок у китайских роз. Я вот и козье молоко пил, и свиное, от поросой чушки. Да разве сравнишь! У Фелипы в сто раз вкусней... Вот у нас с вами грудь — кости одни, а у Фелипы — мягко, прямо как две подушки, и она, если

захочет, молоко из них выпускает. Прежде она мне давала пососать. Давно только. Вот молоко! Даже вкусней того, которым крестная нас по воскресеньям угощает на завтрак... Раньше Фелипа каждую ночь приходила спать ко мне в каморку. Ляжет с краешка, прижмется, а то и вся на тебя навалится и дает сосать. А молоко — сладкое-сладкое, горячее, так по языку ручьем и бежит... Я часто китайские розы рву. Пососешь — вроде не так есть хочется. Вот и у Фелипы молоко такое же вкусное. Но только оно мне куда больше нравилось, потому что Фелипа, когда молоко выпускает, меня по всему

телу щекочет, а потом уснет рядом со мной и проспит до света. Я и рад: с Фелипой спать тепло, не озябнешь, и ничего не страшно, а то я все боюсь: что как, один лежа, ночью возьму да вдруг и помру, без отпущения, — ведь прямая дорога в ад... Бывает, я не очень-то боюсь попасть в ад. А бывает — очень. А мне еще и нравится самого себя адом пугать. Раз уж я такой, что мне хоть кол на голове теши, и за это я в ад угожу, я и колочу головой обо что попало — правда ли, такая она у меня крепкая? Даже сердце от страха заходится, что как и в самом деле расколочу голову и в ад попаду? А когда Фелипа со мной ночует, у меня весь страх

проходит. Как возьмется она меня щекотать, по-своему, по-особенному, — у меня этот страх мой всегдашний, что как бы не помереть невзначай, не знаю куда и денется. Забуду даже, что боялся... Фелипа, когда ей придет охота у меня ночевать, говорит, что она про все мои грехи Богу расскажет. Господь Бог скоро ее приберет, и она там, на небе, попросит, чтобы он простил мне мои великие грехи, потому что весь я в грехах, весь с головы до ног. Вот она и выпросит у Боженьки прощение для меня, чтобы мне больше не бояться ада. Оттого она каждый день и на исповедь ходит. У ней у самой грехов нет, это она ради

меня, потому что у меня внутри дьявол сидит, да не один, а в каждой моей жилочке по дьяволу, и пока эта нечисть из меня не выйдет, Фелипа будет ходить за меня исповедоваться. Как вечер, так она на исповедь. Ни одного дня не пропустит. Пока буду жива, говорит, ни на один день не лишу тебя этой милости. Оттого я так и люблю Фелипу. А насчет головы, это мне здорово повезло, что на ней хоть кол теши. Бежишь вдоль галереи и головой по столбам трах, трах, трах, а ей хоть бы что, ни разу не треснула. А еще можно об землю. Сначала потихонечку, а потом сильней, еще сильней — гул подымается, будто в барабан бьют.

Точь-в-точь будто в барабан, в большой, с которым музыканты в храмовый праздник по улице ходят. Сидишь в церкви на привязи возле крестной, а на улице барабан так и гудит: бум, бум. Крестная говорит: не бросишь молотить головой оземь, гореть тебе в аду до скончания веков, неспроста у тебя уже и теперь в каморке полно клопов, тараканов и скорпионов. Но ведь я только чтобы послушать, как гудит. Ну точь-в-точь — барабан! Как же она про это не знает? Услышишь — гудит, и чудится, сидишь в церкви и ждешь не дождешься, когда на улицу выйдешь и своими глазами барабан этот увидишь, удивишься, как это у него

получается, что так далеко слышно, даже по церкви по всей отдается... Но только священнику нашему это нипочем, знай себе гремит: «Светлы и ясны пути добра, пути зла окутаны тьмою». Это так священник наш говорит... Утром я встаю затемно. Выхожу из каморки и подметаю улицу. Стараюсь так успеть, чтобы еще до света к себе в каморку вернуться. А то на улице всякое случиться может. Другой только и высматривает, как бы кому голову камнем раскроить. Мало их, что ли, таких? Заеваешься, камни на тебя — дождем, да еще громаднющие, острые. Потом сиди зашивай рубашку, а про лицо и коленки лучше

не говорить, сколько еще дней пройдет, пока заживут. И со связанными руками намучаешься, ведь если тебе их не свяжут, они нет-нет да и потянутся расковырять корочку на ранке, а ее только сколупни — опять кровь потекла. Кровь, она тоже вкусная. Конечно, на молоко Фелипы не похоже, но ничего... Вот я и сижу дома, никуда не выхожу, а то камнями закидают. Как дадут мне поужинать, я сразу бегу к себе в каморку, и дверь — на запор, чтобы грехи ко мне не забрались: в каморке-то у меня тьма, хоть глаз выколи. А так мне спокойно. Я даже лучины от тараканов не жгу. Что мне смотреть,

откуда они лезут. Я себе лежу тихонечко на сеннике, а как почую, что таракан лапами своими шершавыми по шее у меня перебирает, — хлоп его рукой, он и готов. Нет, я лучины не зажигаю, станешь с лучиной за каждым тараканом гоняться, какой под одеяло к тебе заползет, а грехи — вот они, тут как тут, увидят, что я про них позабыл, — и сцапают. Таракана когда раздавишь, треск идет, будто саранчу раздавил. А вот сверчка — не знаю. Я сверчков не трогаю, пускай себе живут. Фелипа говорит, сверчки оттого поют без роздыху, чтобы не слышно было, как кричат грешные души в чистилище. А

умолкни сверчки хоть на минуту, люди все от страха поразбегутся, потому что на всем свете ничего слышно не будет, только как души усопших кричат. Я очень сверчков люблю; хоть час целый готов слушать, как они заливаются. У меня их в камерке пропасть. А больше всего в углу, где я сплю, в складках между сенником и подстилкой. Даже, наверно, тараканов столько не наберется, сколько сверчков. А еще у меня водятся скорпионы. Минуты не пройдет, чтобы с потолка скорпион на тебя не шлепнулся. Тут уж лежи, не дыши, тогда он спокойненько по тебе пробежит и на пол спустится. А пошевелился или там рука-нога

дрогнула — пропал, так и прожжет тебя своим жалом. Ох и боль! Фелипу скорпион один раз в зад уколол, в самую мякоть. Она даже заплакала. Плачет и кричит, только чуть слышным таким криком, и Пресвятую просит, чтобы все ей в целости сохранила. А я ей место это, где ужалено, языком зализывал. Всю ночь лизал, а сам вместе с Фелипой молюсь. Потом вижу, не полегчало ей от слюны, ну и давай плакать, ей помогать... А все-таки лучше в каморке сидеть, чем ходить на улицу. Больно много там охотников камнями швыряться. Дома меня никто не тронет. А увидит крестная, что я китайскую розу сорвал, или с

граната цветок, или с миртового
дерева, она ничего — не заругает.
Знает потому что: мне с утра до ночи
есть хочется. Она знает, я голодный
хожу, и никак мне голода моего не
утолить, не набить брюха досыта,
хоть я весь день только и смотрю, где
бы чего ущипнуть да в рот положить.
Про все она знает: что я и моченый
горох таскаю, который
откормленным свиньям задаю, и
сухой маис, который
неоткормленным в кормушку сыплю.
Знает, что меня голод изводит, что я
голодный встаю, голодный спать
ложусь. И пока меня у нее в доме
кормят, я отсюда никуда не уйду.
Ведь если вовсе ничего не есть

целый день, я думаю, сразу и умрешь. А я, если умру, прямиком в ад отправлюсь, это уж как пить дать. И никто во всем свете меня оттуда не вызволит, даже Фелипа, хоть она меня и любит. Даже ладанка меня не спасет, которую мне крестная подарила и на шею повесила... А пока что сижу я у канавы и дожидаясь, когда лягушки покажутся. Но хоть бы одна выглянула. А ведь сколько я всего понарасказал. Ну если они и дальше так будут, тут и уснуть недолго, а уснешь, ни одной не пристукнешь, они и заквакают, крестная услышит, и опять у ней сна как не бывало, несдобровать мне тогда, осерчает да

и вымолит у какого-нибудь своего святого — они у ней в комнате все в ряд выставлены, — чтобы послал чертей по мою душу, ухватят меня черти и поволокут прямоком в преисподнюю, на вечные муки, а в чистилище даже и заглянуть не пустят, и никогда, никогда больше не увидеть мне отца с матерью — они-то ведь у меня в чистилище... Нет уж, лучше я дальше говорить стану. Ничего мне так на свете не хочется, как попробовать, еще разок хотя бы, Фелипиного молока, один бы только глоточек. Очень уж оно вкусное и сладкое, прямо как сок у китайских роз, если цветок подкусить снизу и высосать...

Нам дали землю

Мы идем уже много часов, а кругом ни деревца, ни кустика, ни былинки. Но вот где-то вдалеке слышался собачий лай.

А мы думали, дороге не будет конца. Шагали мы по ней, шагали, и нас нет-нет да и брало сомнение: куда же она нас ведет, эта дорога. Может там, в конце, и нету ничего? Да и чему там быть, если земля вся от жары растрескалась и ручьи пересохли. Выходит, что-то все-таки там есть. Какое-то селение. Вот опять собаки залаяли, а в воздухе потянуло дымком. Запах жилья. Мы

принюхиваемся, стараемся уловить его снова и снова. В этом запахе — обещание, надежда.

Но до селения еще не близко. Близким его пока что делает ветер.

Мы двинулись в путь на заре. А теперь часа четыре пополудни. Кто-то поднимает голову, щурится на неподвижно висящее в небе солнце и сообщает:

— Часа четыре, не меньше.

Это Мелитон. Кроме него, нас еще трое: Фаустино, Эстебан и я. Всего четверо. Мы шагаем попарно. Двое впереди, двое сзади. Я оглядываюсь, словно хочу еще раз проверить, действительно ли позади, за второй парой, уже никого нет.

Верно — никого. «Нас всего четверо», — бормочу я про себя. Часов в одиннадцать утра, совсем недавно, нас было больше двух десятков. Но мало-помалу все, по двое, по трое, разошлись в разные стороны, и осталась нас горстка — четыре человека.

— Похоже, дождь собирается, — говорит Фаустино.

Все, как по команде, задирают голову. Над нами, низко нависая, плывет черная, тяжелая туча. И мы думаем: «Может, и правда, пойдет дождь?»

Но никто не произносит ни слова. У нас уже давно пропала охота разговаривать. От жары. Сидя где-

нибуть в прохладной тени — почему не поговорить. Но сейчас это не так-то просто. Только ты открыл рот, чтобы что-то сказать, горячий воздух врывается тебе в глотку, и все твои слова спеклись, засохли у тебя на языке. Начнешь отдуваться, и последнее словечко испарится вместе с дыханием. Не больно-то разговоришься.

На дорогу падает капля воды, крупная, набухшая. Она выбивает в пыли ямку и тут же превращается в темную кашицу, похожую на след от плевка. Но пока что это — единственная капля. Мы обшариваем глазами дорогу. Нам так хочется, чтобы капли посыпались одна за

другой. Мы ждем. Но ждем зря: дождь так и не пролился. Набрякшая водою туча уже далеко, она торопится прочь от этих мест. И ветер, который дует со стороны селения, все подгоняет и подгоняет ее, унося к синим теням горной гряды у нас за спиной. А иссохшая от жажды земля бесследно проглатывает одинокую каплю, сдуру упавшую на дорогу.

Кто, черт подери, выдумал это проклятое Нагорье, а? Кто создал эту прорву бесполезной земли?

Мы снова шагаем по дороге. Стояли мы совсем недолго, хотелось посмотреть, как пойдет дождь. Но дождь не пошел. И вот мы опять

топаем вперед. Мне вдруг начинает казаться, что шли мы, шли, да так никуда и не ушли. И от этой мысли мне уже никак не отделаться. Не знаю, пролейся дождь, может у меня были бы другие мысли. Ведь это подумать, с мальчишеских лет мне еще ни разу не довелось видеть здесь, на Нагорье, дождь, то есть настоящий, чтоб уж дождь так дождь.

Нет. От этого Нагорья толку, как от козла молока. Даже кролики здесь не водятся, даже птицы и те здесь не летают. Как в пустыне. Лишь редко-редко заметишь на бурой земле зеленоватое пятно — это щетинка сакате топорщит свои жесткие, скрученные листики, или чахнут

вдали два-три одиноких куста кассии, — больше тут ничего нету.

По этой-то вот пустыне мы и шагаем. На своих двоих. Поначалу у нас были кони, и у каждого, сбоку от седла, — карабин. Но теперь у нас не осталось ни коней, ни карабинов.

А все-таки я считаю, к лучшему оно, что карабины у нас отобрали. В здешних краях иметь при себе оружие — дело рискованное. Не любят тут, кто таскается с ружьем во всякое время. Увидят, приканчивают на месте, без предупреждения. А коней жалко. Ехали бы мы верхом, давно бы напились из речки прохладной воды, давно бы вышли прогуляться по деревенской улице,

протрясти сытный обед. Да, будь мы верхом... Но коней у нас отобрали вместе с карабинами.

Я пытаюсь окинуть взглядом неохватную широту Нагорья, верчу головой то в одну сторону, то в другую. Этакая уйма земли! А пропадает зря. Взгляд скользит вдаль, не задерживаясь, ему не на чем остановиться. Разве что высунется из норки ящерица, но солнце так ее обожжет, что она тут же юркнет куда-нибудь в тень, за камень. Как же, спрашивается, здесь работать? Мы-то куда от солнца спрячемся, а? Зачем нам дали эту шелудивую землю? Попробуй возделай ее!

Нам было сказано:

— От селения и до этих вот мест вся земля ваша.

— Так ведь это — Нагорье! — оторопели мы.

— Да, Нагорье. Все Великое Нагорье отныне принадлежит вам.

У нас вытянулись лица. Мы хотели сказать, на кой нам ваше Нагорье. Вы нам давайте настоящую землю, ту, что по реке, и дальше — в долинах, там, где растут деревья, эти — красивые, казуаринами их называют. Нам нужны пастбища и плодородные пашни, а не бесплодное Нагорье. Какая же это земля. Это — заскорузлая шкура коровья, да еще и недубленая!

Но нас и слушать не стали.

Уполномоченный не для того, видите, приехал, чтобы разводить с нами тары-бары. Сунул нам бумаги на владение и говорит:

— Смотрите, сколько вам земли отрезали! Не испугайтесь.

— Так ведь это — Нагорье, господин уполномоченный, оно...

— Земли, можно сказать, не мерено, тысячи и тысячи юнт. [\[1\]](#)

— Что земля, когда воды нету. Там и курице напиться-то негде.

— А дожди на что? Никто вам не обещал, что вы получите землю с водой. Зато, когда начинаются дожди, маис там растет на глазах, будто его тянут из земли руками.

— Дожди! Да там, господин

уполномоченный, если пройдет дождь, земля тверже камня делается. Эту коросту потом никакой плуг не возьмет. Мы Нагорье знаем. На нем для каждого зернышка ямку киркой выбивать надо. А и выбьешь, разве ж оно уродит? От века там не родило и родить не будет, ни маис, ни другое что.

— Напишите заявление. А пока что — всё, можете идти. С претензиями обращайтесь к Союзу латифундистов, с ним и воюйте. Правительство тут ни при чем, будьте ему благодарны, что оно вам землю дало.

— Выслушайте нас, господин уполномоченный. Мы против

Центрального правительства ничего не имеем. А вот против земли, которую вы нам выделили, имеем. А раз мы против нее имеем, стало быть, саму-то мы ее, землю то есть, не имеем. Чего нет, того нет. Вот мы про что толкуем... Погодите, мы вам сейчас объясним. Возьмем для начала примерно, как мы говорили...

Но он не стал нас слушать.

Так и получили мы нагорную пустошь. Посеешь на этой раскаленной сковороде! Хотел бы я посмотреть, как оно зазеленеет да расцветет. Зазеленеет тут, черта с два! Тут даже стервятнику поживиться нечем. Покажется один где-нибудь в небе, да и то высоко-

высоко, мелькнет и пропал, спешит подальше от гиблого места. На что ему эта окаменелая, добела выжженная, мертвая пустыня. Ведь здесь, хоть все глаза прогляди, не увидишь ни пробежавшей твари, ни ветки, клонящейся под ветром. Идешь, идешь по дороге, а кажется — не ушел вперед ни на шаг.

— Эта земля теперь наша, — объявляет вдруг Мелитон.

— Что, что? — переспрашивает Фаустино.

Я помалкиваю. «С чего это вдруг Мелитон понес околесицу? — удивляюсь я. — Видать, не в себе парень: от жары в голове путаться стало. Шляпа от солнца перегрелась,

вот и напекло темя. Чушь такую пороть! Наша земля! Да какая же это земля, Мелитон? Тут не то что земли — пыли и той нету! Ветру вон на дороге поиграть нечем».

А Мелитон знай себе рассуждает:

— На что-нибудь и такая земля сгодится. Сгодится. Тут лошадям приволье.

— Каким же это лошадям? — недоумевает Эстебан. До этой минуты я на Эстебана не смотрел. А вот заговорил он, я и разглядел его как следует. Одет он в куртку, а из-за борта куртки высовывается птичья голова, похоже — курицы.

Так и есть. Под курткой у

Эстебана сидит рыжая курица. Глаза у нее сонно закрыты, клюв разинут, будто она зевает.

— Послушай, Тебан, — говорю я, — где это ты курочку спроворил?

— Нигде, — отвечает он. — Моя собственная.

— Что-то я раньше ее у тебя не видел. Купил ее, что ли? А?

— Зачем — купил? Она у меня из дому.

— Значит, вроде харча живого с собой взял?

— Какой еще харч! Взял потому, что одну-то ее дома не оставишь. Я бобылем живу. Ушел — дом на замок. Кто же ей пить-есть даст? Вот и таскаю с собой. Я всякий раз, как

далеко из дому ухожу, с собой ее беру.

— Ей у тебя под курткой жарко, смотри, как бы не задохлась. Вынь ее, пусть подышит.

Эстебан берет курицу под мышку и горячим воздухом изо рта дует ей в клюв. Потом вдруг сообщает:

— К обрыву подходим.

Он говорит еще что-то, но я уже не слышу: мы друг за другом начинаем спуск с крутизны, и я оказываюсь позади Эстебана. Теперь он несет курицу за лапки, то и дело взмахивая рукой, чтобы ненароком не стукнуть птицу головой о камень.

Чем ниже мы спускаемся, тем мягче становится земля. Наши ноги

взбивают тучу пыли, со стороны посмотреть, скажешь: спускается стадо мулов. Но нам по душе эта пыль. По душе! Мы целых одиннадцать часов шагали по закаменелой дороге Нагорья, и теперь нам попросту нравится, когда из под ног взлетает и прядает нам в лицо вот это теплое, пушистое, пахнущее землей.

Над рекой, над зелеными казуаринами взлетают стаи таких же зеленых чачалак. И это тоже нравится нам.

Собачий лай раздается где-то совсем рядом, несется со всех сторон. Это ветер из селения пролетает между крутых берегов

реки, наполняя тесную долину
отзвуками деревенских шумов.

Показались первые дома.
Эстебан снова берет курицу под
мышку. Лапки он ей развязал, они у
нее, наверно, совсем затекли. А еще
через минуту он скрывается вместе с
ней за живой изгородью из мескита.

— Я сюда, — объявляет он нам.

Мы шагаем дальше, в глубь
селения.

Земля, которую нам дали,
осталась наверху, у нас за спиной.

На кумушкином взгорье

С братьями Торрико, покойниками, мы всю жизнь прожили в дружбе. В Сапотлане их, может, и недолюбливали, но я с ними всегда дружил, до самой их смерти. Ну, а что недолюбливали их в Сапотлане — так что на это смотреть! Меня тоже там не очень-то жаловали. Я даже больше скажу, вряд ли нашелся бы у нас, на Кумушкином взгорье, человек, что был бы им, тамошним, по душе, — волками на нас глядели. Так уж исстари повелось.

Опять же и на Кумушкином взгорье братья Торрико не со всеми ладили. Не с тем схлестнутся, так с этим — вечно с кем-нибудь воевали. Они тут, можно сказать, были хозяева: вся земля — их. И дома, что на этой земле стояли, — тоже их, ну и все прочее. Жило нас на Кумушкином взгорье шестьдесят душ, и когда стали народу давать землю, участки все нарезали поровну, а братьям Торрико достался надел на горе. Земля там худая, одни мескалевые агавы растут, зато все дома наши и постройки как раз на ихнем участке оказались. И по-прежнему все Кумушкино взгорье осталось в руках у братьев Торрико.

И тот клочок земли, с которого я кормился, тоже принадлежал им: Одилону и Ремихио Торрико. И те вон зеленые увалы — их там, вниз по ложбине, десятка два наберется — опять же принадлежали им, братьям Торрико. И все про это знали. Не понадобилось бы и следствия наряжать.

Только начало наше Кумушкино взгорье с той поры — с раздела — приходить в запустение. Сегодня, глядишь, этот ушел, завтра — тот. Перемахнул через поскотину у призового столба, скрылся в дубраве, только его и видели. Разбегались кто куда — вот и весь сказ.

Да и я сам был бы не прочь

податься в чужие края, поглядеть, какие там такие чудеса за горами, что уйдет человек и больше не возвращается. Но очень уж по сердцу мне была земля наша здешняя, а кроме того — дорожил дружбой с братьями Торрико.

Участок мой лежал в верхнем конце ложбины — у нас ее тут «Бычьей головой» называют, — у самого, как бы сказать, начала, где косогор в дно переходит. Невелик был участок, только и хватало фасоли посадить да майса — не на зерно, а чтобы свежих початков поест, вареных.

Место было неплохое, красивое. Одна беда: землю от дождей

развозило сильно; бывало, ног не утянешь. И еще камни. Рассыпаны по всему участку, и ничем ты их не возьмешь — твердые, остроребрые, громадные, лежат, будто обрубленные стволы на лесосеке, и, ей-богу, кажется, что ни год, то выше становятся — растут! Но ничего, маис хорошо родился, початки — слаще сахара. Братья Торрико, что бы ни ели, употребляли соль текеските.

[2] А мои початки никогда не солили. И не только что не солили, даже не поминали про соль, что, мол, не худо бы на початок этот текеските посыпать. Да, хороший родился у меня маис.

Так-то оно так, и что увалы на

том краю ложбины зеленые — тоже верно. Но только народ на это не глядел — разбегался. Уходили не в Сапотлан — в другую сторону, к горам, откуда ветер приносит шум леса и запах дубовой листвы. Молчком уходили, без лишних разговоров, без ссор; хотя напоследок чесались, наверно, у них руки рассчитаться с братьями Торрико за все обиды, да не хватало храбрости. Наверняка так оно было.

И ведь до чего дошло — даже после ихней смерти, то есть братьев Торрико, ни одна живая душа сюда не вернулась. Я ждал, авось воротятся. Нет, так никто и не воротился. Поначалу присматривал я за домами.

Крыши починял, ветками дыры в стенах заделывал. Потом вижу, забыли они про родные края, ну и бросил. Одни только дожди не забывают нашу сторону, приходят в срок, каждый раз в середине года. Да еще свирепые февральские ветры — выйдешь на улицу, того и гляди, сорвет с тебя накидку. Да еще, бывает, пролетит ворон, низко пролетит, прокаркает у тебя над головой во всю глотку, верно, думает, место это людьми брошенное.

Давно уж нет на свете братьев Торрико, а тут все то же: запустенье, безлюдье.

В прежние годы отсюда вот, где я сейчас сижу, Сапотлан видно было.

В любое время, хоть ночью, хоть днем, посмотришь: вдали ровно бы пятнышко белеется — Сапотлан. А теперь тут креозотовые кусты стеной встали, в двух шагах ничего не видать, даже когда ветер их к земле клонит.

Вот и вспоминаются мне прежние годы. Частенько тогда наведывались ко мне братья Торрико. Придут, усядутся со мной рядом на корточки и сидят. Часами, бывало, просиживали, пока уж совсем темно не сделается, и все смотрят, смотрят в ту сторону, неотрывно, будто один Сапотлан у них на уме и уж больно охота им туда съездить, погулять. Потом только я узнал, что мысли у

них вовсе не Сапотланом были заняты. Они высматривали, что делается на дороге. Она по дну лощины идет, как бы по проулку, песчаная, широкая, и с моего участка ее всю видать — от самого начала до сосняка на холме Медиа-Луна. Там уже за деревьями ее не разглядишь.

Не встречал я в жизни человека зорче Ремихио Торрико. Кривой он был. Зато уж как взглянет, бывало, одиноким своим зрячим глазом, все углядит: дальнее ему как ближнее, будто оно у него под носом расположено. Наведет этот черный свой с прищуром глаз на дорогу, и пожалуйста: кто идет, что везет — все вызнал. А как приметит что-

нибудь стоящее, и оно ему приглянется, тут же они вместе с братом с вышки со своей дозорной снимаются, — и дня три-четыре, а то и больше, их у нас на Кумушкином взгорье не видать, не слышать.

В те дни, бывало, не узнаешь нашей деревни. У кого в лесу, по пещерам, скотина мелкая, птица припрятана, — приводят ее домой на скотный двор: никто не таится, у того, глядишь, ярочка, у того — индюков пара. Во дворах маис кучами насыпан: проветривается; тыквы солнышку желтые бока подставляют. В открытую все, хоть считай, сколько у кого добра припасено.

Случалось, с гор холодным ветром тянет, а люди, не знаю уж почему, не замечают. Только и слышишь: «Ну и славный же сегодня денек выдался». По утрам, на зорьке, петухи по всей деревне горланят, будто и впрямь мирное жите настало, будто и впрямь у нас на Кумушкином взгорье спокон веку тишь да гладь да божья благодать.

А потом братья возвращались. Но ни разу они нас не накрыли. Выручали собаки ихние. Почуют, бывало, хозяев и кидаются со всех ног им навстречу. Бегут, лаем заливаются. А мы по лаю и рассчитываем, близко ли братья и с какой стороны их ждать, и, не теряя

времени, все свое добро — назад в тайники, от греха подальше.

Так уж оно повелось: возвращаются братья Торрико домой, а с ними и страх на Кумушкино взгорье возвращается.

А я вот их не боялся. Водил дружбу с обоими. Бывало, даже обида возьмет, скинуть бы, думаю, десяток-другой годков, пошел бы с ними вместе на дело, за компанию. Догадался я про свою немощь, когда они меня как-то раз взяли с собой на «работу». Они в ту ночь ограбили погонщика. А я в ту ночь почуял: не тот я, что раньше был, вроде не хватает чего-то. Силы нет прежней, изредилась, как ветхое сукно, навали

тяжести побольше — конец. В ту ночь я это понял.

Вышел тот случай в самую пору дождей; попросили они меня пособить им: доставить домой сколько-то вязанок сахарного тростника. И вот иду с ними, а у самого душа не на месте — боязно. Первое, оттого что гроза, ливень такой, не то что с неба, сдается, из-под земли вода хлещет. Второе, оттого что не знаю, куда иду. Ну, да какая разница. Боязно — значит, ушло мое времечко, и не гожусь я на рискованные дела.

Они мне сказали, что идти недалеко. «Через четверть часа, говорят, там будем». Но пока мы

выбрались на дорогу к Медиа-Луне, темнеть начало, а пока дошли до места, ночь наступила.

Погонщику бы встать нам навстречу, поглядеть, что за люди идут. Но он не поинтересовался. Верно, сговор у него, думаю, с братьями Торрико, вот и не удивляется поздним гостям.

Взялись мы тростник перетаскивать, ходим взад-вперед, а погонщик не шевелится, как лежал в траве, так и лежит. Я и скажи про это братьям Торрико.

— Этот-то, — говорю, — который в траву носом уткнулся, сдается мне, мертвяк. А нет, так здорово похож на мертвяка.

— Померещилось тебе, —
отвечают. — Спит он, только и всего.
Мы когда уезжали, он вязанки
караулил, да, видно, притомился, ну
и уснул.

Я подошел и сапогом его в бок,
хотел разбудить. Но погонщик не
шелохнулся.

— Мертвый он, — говорю.

— Зря ты это, ну зря! Какой он
мертвый, так, оглушенный маленько,
эка важность. Одилон его палкой по
голове хватил. Ничего, очухается.
Солнце вот взойдет, затылок ему
пригреет, небось живо на ноги
вскочит. Так домой припустит,
смотреть любо. Подбери-ка вязанку,
около него валяется. Пошли!

Сказали — как отрезали.

Напоследок я еще раз его, бедолагу, пнул сапогом, посильней, и так оно гулко отозвалось, будто я по сухому дереву ударил. Вскинул я вязанку на плечо и зашагал к дороге. Я впереди, они — сзади. Идут и песни орут. Долго орали, до самой зари. А как рассвело — не стало их слышно. Верно, это ветерок утренний голоса их назад относил. Иду, а куда братья подевались, не знаю. Потом уж лай собачий услышал: бегут собаки ихние со всех сторон, лаем захлебываются.

С той ночи я и узнал, зачем братья Торрико каждый вечер возле моего дома сидят и смотрят на

дорогу в Сапотлан.

Убил я Ремихио Торрико.

К тому времени взгорье наше почти обезлюдело. Сперва по одному уходили, а под конец и вовсе толпами. Заработают малую толику денег и с первыми заморозками уходят. Несколько лет подряд случались у нас по осени заморозки, в одну ночь всему урожаю конец. И в тот год так же вышло. Вот и стал народ шибче прежнего разбегаться, думали, и на другой год опять то же будет. Надоела людям эта канитель: каждую осень воюй за урожай с холодами, а всю жизнь — с братьями Торрико.

Так что убил я Ремихио, когда уж и Кумушкино взгорье, и все склоны вдоль по ложбине порядком опустели.

Дело-то было, чтоб не соврать, в октябре. Помню, ночь выдалась ясная, месяц вот такой вот огромный, все вокруг сиянием своим заливают. Вышел я из дому и пристроился во дворе чинить дырявый мешок — светло, никакой лампы не надо. Тут-то и явился ко мне Ремихио. Пьяный, видно, он был. Стал передо мной и раскачивается из стороны в сторону, свет мне то заслонит, то опять откроет — хоть бросай шить. Молчал, молчал, а потом начал.

— Не люблю, — говорит, — у кого душа кривая. Я люблю, чтобы все напрямик. А если тебе это не по нутру, придется потерпеть. Я тебя выпрямлю — в струнку.

Ну, а я знай мешок свой латаю, глаз от дырок не отвожу, кулевая игла, четырехгранная, так и блестит при луне — сама шьет. Он и подумал, что я к его словам без внимания. Разгорячился.

— Это я тебе говорю, — орет. — Ты дурака не валяй, знаешь, почему я пришел.

А сам на меня наступает, вплотную встал, последние слова чуть не в лицо мне выкрикнул. Испугался я малость, поднял голову

— посмотреть, впрямь ли он так сильно гневается, гляжу на него, спрашиваю как бы, чего ему от меня надо.

Помогло. Остыл он вроде и повернул иначе: дескать, от таких, как ты, разве что с нахрапу чего добьешься, если врасплох наскочишь. И пошел, и пошел:

— Язык у меня к горлу присыхает разговаривать с тобой после того, что ты сделал. Но ведь и брат мой, и ты — оба вы мне были друзья. Не это бы, я б к тебе не пришел. Выкладывай, как брата Одилона убили. Все как есть, без утайки.

Тут уж я во все уши слушать

стал. Даже мешок отложил в сторону.

А он всю вину валит на меня, я, мол, брата его ухайдакал. Но это неправда. Я-то хорошо помнил, чьих это рук дело. И все бы рассказал Ремихию, как оно вышло, но он свое гнет, словечка не дает вставить.

— Мы с Одилоном, — говорит, — сколько раз ссорились, доходило и до кулаков: как что вобьет себе в голову, не сразу, бывало, и выбьешь, и с людьми был задирчив, а так-то смирный, смажешь его раз-другой, и притих. Вот я тебя и спрашиваю, поперек он тебе что сказал или отнять у тебя что надумал? Чего вы там не поделили? Или, может, он к тебе с кулаками, а

ты сразу за нож? Так, что ли, получилось?

Я головой мотаю, неправда, мол, я тут ни при чем... Но он мне и рта раскрыть не дал.

— Слушай, — говорит, — у Одилона в тот день было при себе, в нагрудном кармане рубашки, четырнадцать песо. Я, когда его поднял, карманы обыскал, но денег никаких не нашел. А вчера узнаю, ты себе накидку купил.

Что верно, то верно. Накидку я купил. Холода на носу, а пальтецо мое совсем прохудилось, отрепья одни, я и пошел в Сапотлан накидку покупать. Деньги откуда? Двух козляток своих продал, вот и

выручил, сколько надо было. А вовсе не на те четырнадцать песо, что были у Одилона. Мог бы Ремихио до этого и своим умом дойти, видит же: мешок весь в дырках. А с чего бы этим дыркам и быть, как не с того, что я меньшого козленка всю дорогу в мешке пер, сосунок он, сам идти не может.

— Так вот, чтоб ты знал: которые Одилона убили, мне за это заплатят. Я не посмотрю, кто убийца! — кричит он мне чуть не в ухо. — Я знаю, кто брата жизни решил.

— Это что ж, про меня речь, что ли? — спрашиваю.

— А про кого же еще? Пусть мы

с Одилоном совесть потеряли, сволочи мы с ним, и все такое, ладно. Не отрекаюсь, случалось, и людей на тот свет спроваживали. Но чтобы из-за каких-то четырнадцати песо! Нет, до такого мы с ним не доходили. Верно говорю.

А месяц так и сияет, известно — октябрь, хоть иголки во дворе подбирай. От Ремихио тень до того длинная, что на стену дома подымается. Смотрю, поворачивается он, — а у меня во дворе техокоте^[3] растет и на суку висит резак, снимать сливы, — Ремихио берет этот резак — и ко мне.

Но только отступил он в

сторону, игла — она у меня в мешок была воткнута — так вся от лунного света и вспыхнула. И не знаю уж как да почему, но подумалось мне, что одна у меня теперь надежда — на иглу на эту. Выдернул я ее из мешка, и когда Ремихио на меня кинулся, я, не долго думая, иглу — ему прямо в живот. Возле самого пупка загнал, на всю длину. И оставил.

Ремихио так и скрючился, будто его резь схватила, и оседать начал: коленки подогнулись. Опустился на землю, сидит, не шелохнется, — только глаза наливаются страхом.

Посидел он так, посидел, — перемогаться стал. Ну, думаю, поднимется сейчас да как шарахнет

меня резакон. Но то ли он меня пожалел, то ли уж не соображал ничего, разжал пальцы, выпустил резак, опять скорчился весь и застыл.

Вижу, глаза у него печальные сделались, печальные, и смотрит он на меня, как неизлечимо больной на здорового. Давно не приходилось мне видеть в человеческих глазах такой печали. Защемило у меня сердце, и, чтобы ему зря не мучиться, вытащил я иглу у него из живота и обратно всадил, повыше; по расчету моему — против сердца. И, надо думать, Попал, потому что трепыхнулся он разок-другой, точь-в-точь курица, когда голову ей отрубишь, и затих.

Тут я ему и говорю, а он-то,

наверно, и не слышал, помер потому что:

— Ты уж меня прости, Ремихио, — говорю, — но только Одилона я не убивал. Его братья Алькарасы порешили. Не стану врать, был я при этом, но пырнул его не я, хорошо помню. Это они, Алькарасы. Скопом на него навалились, всей родней. Я и оглянуться не успел, смотрю, а он уж Богу душу отдает. И все из-за чего? Из-за того, что перво-наперво не надо было ему в Сапотлане показываться. Ты-то ведь знаешь: в Сапотлане — не в этот раз, так в другой — все равно ему бы несдобровать. Было там у людей что

ему припомнить. А насчет Алькарасов — они на него давно зубы точили. Из-за чего они не поладили, это мне неизвестно, да и тебе тоже.

А вышло все в одну минуту, я и глазом моргнуть не успел. Купил я свою накидку, иду к дверям. А братец твой набрал в рот мескалевой водки да и пустил струей кому-то из Алькарасов в лицо. Вроде плюнул. В шутку он это, для потехи. И верно, все кругом так и зареготали. Смех смехом, а сами-то пьяные: Одилон и Алькарасы, и прочие, кто там был. Ржали, ржали, а потом вскочили — и за ножи. И все — на него. Ну и разделали. В крошево. Где уж тут

ВЫЖИТЬ.

Так что мое дело было сторона. Я его не убивал. Другие убили. И я хочу, чтоб ты знал это: к смерти твоего брата я руки не приложил.

Все как есть ему растолковал, покойнику Ремихио.

Вернулся я на Кумушкино взгорье, когда месяц уже за дубы перевалил. Корзину для маисовых початков, пустую, на землю поставил. Но убирать не стал, прополоскал сначала в ручье, чтобы кровь отмыть. Подходила пора убирать урожай, вот и не хотелось мне каждый раз глазами на кровь Ремихио натекать.

Да, точно помню, — это в

октябре было, в ту неделю, когда в Сапотлане храмовый праздник. Я потому и запомнил, что в Сапотлане в ту ночь пускали фейерверк. Ташу я Ремихио в корзине из-под кукурузы, а над Сапотланом ракеты цветные взлетают, и как взлетят, сразу туча стервятников в воздух поднимается, треск их пугает.

Вот оно мне и запомнилось.

А все от того, что мы бедные

Худо нам живется, хуже и не бывает. На прошлой неделе умерла тетя Хасинта, а в субботу — не успели мы ее похоронить и в себя прийти — дождь зарядил. Проливень. Отец волосы на себе рвет, потому что ячмень весь на заднем дворе остался, мы его там сушили. Ливень начался вдруг — хлынул стеной, вот мы ничего убрать и не успели, ни зернышка. Спрятались под навесом все вместе и смотрим, как холодная вода с неба хлещет, и от холодной этой воды

желтый наш ячмень, только что убранный, гореть начинает.

А тут еще вчера, когда сестренке Таче исполнилось двенадцать лет, нам сказали, что корову нашу, которую отец подарил Таче на день рождения, полрой водой унесло.

Вода еще третьего дня перед рассветом прибывать начала. Я спал без задних ног, но река так разбушевалась, что я от шума проснулся, с кровати вскочил и одеяло под мышку: не разобрал спросонья, думал, крыша на голову рушится. После уж сообразил, что это река разыгралась, лег и снова уснул: река хоть и грохочет, но шум у нее ровный, так и убаюкивает.

Утром встал — все небо тучами обложено, видно, дождь лил всю ночь, не переставая. А река громче прежнего ревет, совсем уж рядом. И тянет от нее тухлой водой, гнилью; такой запах бывает, если ил со дна взбаламутить.

А когда я на улицу вышел, река уже из берегов выступила, и вода по главной улице подыматься начала все выше да выше. Усадьбу у тетушки Бочки — это ей прозвище дали такое, Бочка, — всю залило. Волны поверху через ограду перехлестывают, а из ворот потоком вырываются. Тетушка Бочка по воде шлепает — двор-то, считай, уже с рекой слился — и кур из курятника на улицу выгоняет,

чтобы они куда-нибудь спрятались, где их река не достанет.

Посмотрел в другую сторону, где раньше была излучина, — там во дворе у тети Хасинты тамаринд рос, — гляжу: нет никакого тамаринда; наверно, река его с корнем вырвала и унесла. А ведь это на все наше селение единственный был тамаринд. Вот люди и говорят: раз уж и его вода не пожалела, значит, верно, много лет не было такого половодья.

Днем мы снова пошли с сестрой смотреть паводок. Ну и воды! Края не видно. И все прибывает, все черней становится. Там, где мост, давно уже волны ходят, не узнаешь, где и был.

Стоим и смотрим. Может, час простояли, а может, и пять часов. На такое день целый смотри — не насмотришься. Потом по косогору поднялись, послушать, что люди говорят, снизу-то ничего не слышать — вода плещет, видно только, как рты открываются да закрываются, а об чем речь — не разберешь. Вот мы и поднялись по оврагу наверх. И здесь народу полно, все на реку смотрят, убытки подсчитывают. Тут-то нам и сказали, что нашу Пеструню водой унесло. Корову, которую отец подарил Таче на день рождения. У нее одно ухо было белое, а другое — рыжее, и глаза красивые-красивые.

Одного не пойму, с чего это

Пеструне взбрело через реку переправляться? Не видела она разве, что река-то совсем другая стала, на ту сторону не перейдешь? Пеструня ведь у нас умница, сразу бы смекнула. Я думаю, вода ее сонную врасплох застигла, а то бы она сроду так зазря не пропала. А поспать, это правда, она любила. Сколько раз утром приду хлев отворять, а она себе спит, не разбуди ее, весь день с места не сдвинется, спать будет, глаза закрытые, только что вздохнет когда. Коровы часто во сне так вздыхают.

Вот и тут она скорее всего что спала. А как вода к ней подобралась и в бока плескать стала, она, наверно, проснулась. Испугалась,

наверно, и назад к дому бросилась, а речку-то уж не перейти: холодная вода в грудь бьет, ноги судорогой сводит. Страшная вода: черная, неодолимая, бездонная, как зыбучий песок. Она, наверно, мычать — просит, чтобы спасли ее. Господи Боже, как же она, бедная, мычала, наверно, как просила!

Я все допытывался у дяденьки, который видел, как ее по реке несло, не заметил ли он при ней теленочка — теленочек у нее был. А он говорит, может, и был, я не примечал. А пестрая корова, это, мол, верно, проплыла мимо совсем близко, на спине, копытами кверху, после перевернулась и ушла под воду, и ни

рогов, ни копыт, ничего больше он не увидел, будто и не было никакой коровы. По реке деревья несло, вырванные с корнями, и он их на берег вытаскивал, некогда, говорит, было ему смотреть, что там плывет, дерево ли, телок или что другое.

Так и не знаем, жив остался теленок или уволокло его по реке вместе с Пеструней. А может, они еще и целы, хоть их и уволокло? Господи, спаси их и помилуй!

Дома у нас у всех камень на сердце: что дальше-то будет, ведь у сестренки Тачи теперь ничего больше не осталось. Отец работал, надрывался, только бы скопить денег на корову; он Пеструню телочкой

привел и вырастил для сестренки, в приданое. Не хотел, чтобы она гулящей стала, как старшие мои две сестры.

Отец говорит, они потому себя потеряли, что мы бедные, а они отца с матерью не слушали, ничего знать не хотели: есть ли, нет ли — им подавай. Сызмальства такие — не нравилось в бедности жить. А как выросли, с парнями стали путаться, с самыми отпетыми. Те их и обучили чему не надо. До того, что сестры на свист откликались: дружки-то среди ночи свистом их на улицу вызывали. После они уже и днем начали уходить, на речку все бегали, за водой будто. А другой раз пойдешь в сарай,

испугаешься даже, елозят по земле нагишом, и на каждой мужик сверху.

Отец их и прогнал. Обоих. Не сразу, правда. Поначалу, сколько мог, терпел. Но потом лопнуло у него терпение, и он выгнал их из дому. Они в Аютлу уехали, а может, еще куда. И стали гулящие.

Оттого отец так и горюет — это он из-за Тачи, боится, чтобы и она не пропала, как старшие, ведь теперь она без ничего осталась; раз корова утонула, не с чего будет Тачу и одеть, как девушке положено, а ведь она скоро совсем взрослая. Теперь ей и жениха хорошего не найти, такого, чтобы женился и всю жизнь любил. С коровой — дело другое. Тогда бы у

нас отбоя от женихов не было. Пеструня-то красавица была, такую бы каждый не дурак домой увести.

Вся наша надежда, авось теленочек цел остался. Неужто же и он вслед за Пеструней в воду сунулся? Упаси Бог! Если и теленок утонул — тогда не миновать, тогда и Тача в гулящие пойдет. А мама ни в какую не хочет.

Мама говорит, что ума не приложит, за какие грехи ей эта кара от Господа Бога, что две дочери с пути сбились. В ихнем роду, с самой бабушки начиная, все были честные, самостоятельные. Все в страхе Божьем росли, послушливые, скромные, сроду никому слова

дерзкого не сказали. Все как одна. А эти... И невдомек, откуда они в нашей семье могли худого набраться. Похожего и то ничего не припоминается. Она всю свою жизнь с самого начала в памяти переворошила, а все не поймет, какой такой грех, какое недоброе дело она сотворила, что так наказана: двух дочерей подряд родила, и обе беспутные. Нет, она ничего плохого за собой вспомнить не может.

Но все равно мама как про них подумает — каждый раз плачет и говорит: «Господи, спаси их и помилуй!»

А отец говорит: им теперь никакое спасение не поможет, Тачу

надо спасать, потому что она, словно сосенка молодая, растет не по дням, а по часам, вон уже и соски оттопыриваются, оглянуться не успеешь — уже и груди. Они у ней, поди, как у сестер, высокие будут, торчком в разные стороны и при каждом шаге трепых-трепых, а парни глаз не спускают.

— Да, — говорит отец, — на нее хоть на работе, хоть на гулянье каждый глаза проглядит, где бы ни увидал. А обернется оно бедой. Бедой обернется. Это мне, как Божий день, ясно.

Вот отец себе места и не находит.

А Тача весь день в слезах,

сердце ей говорит, не видать ей больше Пеструни: сгубила нашу Пеструню река. Стоит Тача в розовом своем платице рядом со мной над обрывом, смотрит на реку и плачет. Слезы катятся у нее по щекам, мешаются с грязью и сбегают темными ручейками вниз, словно и Тачу река захлестнула и течет, течет у нее из глаз.

Я хочу утешить ее, обнимаю, целую, да где там: горше прежнего плачет моя сестренка. В горле у нее булькает и клокочет, точь-в-точь как полая вода у берега, только потише, и от клекота этого Тача вся дергается и дрожит. А река подымается все выше, выше. Гнилые брызги сыплются на

мокрое Тачино лицо, а две ее груди-пупырышки так и прыгают у нее под платьем вверх-вниз, вверх-вниз, и мне чудится, набухли они, сделались как у взрослой, — и вот уже она тут, погибель Тачина.

По следу

Его ступни вязли в песке, оставляя бесформенные следы, схожие со звериными. На крутых спусках пальцы судорожно поджимались, цепляясь за камни. Потом опять след уходил ввысь, к гребням холмов, откуда можно оглядеть местность.

«Стопы плоские, — определил тот, что шел по следу. — Одного пальца не хватает. Большого пальца на левой ноге. Людей с такими приметами не слишком-то много. Особых трудов не потребуется».

Узкая, будто муравьями

проложенная тропинка продиралась по склону сквозь колючки и заросли «чертовой тещи». Тропинка вела вверх, никуда не сворачивая, прямо в небо, и обрывалась, срезанная его синей гранью. Но за гребнем она возникала вновь. Вместе с ней уходило вперед и отдалялось небо. Следы ни разу не сошли с тропы.

...Человек шагал, тяжело ступая на ороговелые пятки, ногтями царапая камни; колючки обдирали ему руки и плечи. Он останавливался на каждом гребне, прикидывая, далеко ли до конца пути. *«Это для него будет конец, не для меня»*, — проговорил он. И обернулся: кто это сказал?

...Дышать было нечем, воздух казался неподвижным, в ушах отдавалось эхо шуршащих по валежнику шагов. Он шел осторожно, рассчитывая каждое движение, примериваясь, прежде чем поставить ногу, боясь громко вздохнуть, — и это утомило его. *«Будь что будет»*, — произнес он опять вслух. И понял, что говорит он сам.

«Здесь он прорубался сквозь заросли, орудуя тесаком, — определил его преследователь. — Вот и срубленные сучья. Значит, не терпелось — торопился. А не терпится, оставляешь следы».

...Терпение он начал терять, когда увидел, что час уходит за

часом, а по-прежнему за одним гребнем встает другой, и снова, снова нет конца склону, по которому карабкаешься. В ярости он выхватил мачете и стал рубить неподатливые, как корни, ветви кустарника и сухой бурьян. На зубах у него заскрипело, он в бешенстве сплюнул набившиеся в рот пыль и песок, потянул сквозь зубы слюну и снова сплюнул. Впереди, в вышине, за сеткой оголенных ветвей акации сияло спокойное, с тихими облаками небо. Листьев на ветвях не было. Не та пора. Сушь, бездожде, одни колючки кругом да бурые стебли усохших трав. И, не помня себя, подталкиваемый нетерпением, он обрушивал удары

мачете на проклятые заросли. «Нашел себе работенку! Только мачете иступишь. Брось, иди вперед», — услышал он у себя за спиной свой голос.

«Его выдает собственная злоба, — отметил тот, что шел за ним следом. — Он уже рассказал мне, кто он такой. Остается только узнать, намного ли я от него отстал. Я буду подниматься по склонам там, где подымался он, спускаться, где он спускался, я буду гнать его вперед и вперед, пока он не выбьется из сил. Я остановлюсь, лишь когда настигну его. Он упадет на колени и будет молить о пощаде. И я всажу ему пулю в затылок... Это свершится, когда бы

я тебя ни настиг».

...Наконец он дошел. Теперь впереди, вверху, было только небо, пепельное, с тлеющими от горизонта до зенита вечерними облаками. Земля повернулась и легла на другой бок. Он увидел перед собою дом и над ним струйку дыма от угасающего очага. Его ноги погрузились в рыхлую, недавно вспаханную землю. По неосторожности рукоять мачете стукнула в дверь. Подбежал пес и стал лизать ему ноги, а другой запрыгал вокруг, виляя хвостом. Тогда он толкнул дверь. Она оказалась незапертой, лишь прикрытой на ночь.

«Чистая работа, — проговорил

его преследователь. — Даже никого не разбудил. Он, верно, пришел после полуночи, когда спится крепче всего и снятся первые сны, когда жизнь вверяется ночи, а телесная усталость подтачивает и рвет чутко натянутые струны осторожности. Пришел и сказал: „Да почиют в мире“».

«...Не надо было убивать всех, — проговорил тот, что шел впереди. — Всех не надо было». И он умолк.

...Пасмурный рассвет дышал зябкой прохладой. Человек, шедший впереди, уже спускался в долину по ту сторону гребня. Ноги его скользили по сухой траве. Он все еще

сжимал в руке тесак, но пальцы его скоро заоченели от холода, и он отбросил мачете; клинок остался лежать в бурьяне, блестя, как мертвый обрубок змеиного туловища. А человек пошел дальше, наугад прокладывая тропу через заросли — к реке.

Она текла далеко внизу, между берегов, поросших болотными кипарисами; темный, глубокий поток ее струился беззвучно и плавно. Она прихотливо извивалась, то устремляясь вперед, то возвращаясь вспять, петляла, кружила на одном месте, змеилась синей лентой серпантина по зеленой земле. Но и вблизи она оставалась безмолвной.

Ляг хоть у самой воды, услышишь не ее говор, а лишь собственное свое дыхание. С высоких болотных кипарисов в воду свисал плющ, сплетая тысячерукие ветви в гибкую паутину, которую течение не в силах разорвать даже в паводок.

...Русло реки человек угадал по желтой кайме цветущих кипарисов. Он не слышал шума воды. Только видел поблескивающие в утреннем сумраке речные извивы. Навстречу ему пролетела стая чачалак. Вчера на закате они улетали вслед за уходящим днем. Сейчас солнце вставало, и с ним вместе возвращались они.

...Прежде чем взяться за мачете, он трижды перекрестился.

«Простите меня», — сказал он им. Когда он дошел до третьего, слезы лились у него ручьем. А может, это был пот. Убивать — трудно. Трудно резать по живому: плоть только с виду податлива, на самом деле она туга, как ремень, она отчаянно сопротивляется. А лезвие мачете было затуплено. «Вы должны простить меня», — сказал он им снова.

«Дойдя до берега реки, он опустился на песок, — проговорил тот, что шел по следу. — Он сидел здесь долго, ждал, когда разойдутся облака. Но солнце так и не проглянуло, ни в тот день, ни на следующий. Я хорошо помню. Это

было в воскресенье, когда умер наш новорожденный и мы ушли на кладбище. Мы не горевали о нем, помню только, что небо было пасмурно, и цветы у нас в руках казались блеклыми и скоро увяли, словно им было тоскливо без солнца.

Он сидел на песке и ждал. А вот и следы его пребывания: шалаш возле зарослей и вмятина, оставленная его теплым телом на влажной земле».

«...Не надо было сворачивать с тропинки, — думал шедший впереди. — Я бы уже давно был на том берегу... Нет, нет, идти по найденной тропе опасно. Особенно, если не чиста совесть. А что не чиста, это угадает первый

встречный. Будто у меня на лбу написано. Это уж так, я знаю. Когда я отрубил себе палец — люди увидели, а сам я сгоряча не заметил — только потом. Вот и сейчас так. На себе не замечаешь, а со стороны, наверное, видно. Чувствую, что видно. Может оттого, что совесть не чиста, а может оттого, что это нелегко мне далось. Не надо было убивать всех. Всех не надо было, — повторил он. — Нужно было одного, которого хотел. Но в темноте — поди их разбери, а на ощупь, что один, что другой — все одинаковы... Ну что ж, раз уж всех вместе — похороны дешевле обойдутся».

«Ты устанешь раньше меня. Я

первым приду туда, куда ты торопишься, — говорил шедший по следу. — Твои намерения известны мне наперед. Я знаю, кто ты и откуда ты, и знаю, куда ты идешь. Я приду раньше тебя».

«...Нет, это не то место, — произнес человек, выйдя к реке. — Если перейти ее здесь, а ниже по течению второй раз, очутишься снова на этой же стороне. Мне надо на тот берег, там я никогда не бывал. Там меня не знают ни в лицо, ни по имени. Потом я пойду прямо, все прямо и прямо, пока не дойду. А уж там меня наверняка ни один черт не сыщет.

...Пролетело еще две-три стаи

чачалак. Он едва не оглох от их крика.

...Надо спуститься ниже по течению. Здесь слишком много излучин, как бы река не запутала меня и не вывела назад, — туда мне возвращаться ни к чему».

«Не бойся, сынок, тебя пальцем никто никогда не посмеет тронуть. На то у тебя и отец. На то я и родился раньше тебя, и кости мои отвердели раньше твоих».

Это был его собственный голос, и он слушал себя, слушал, как неторопливо слетают слова с его языка. Бессмысленные, лживые слова.

Зачем он их произнес? Его сын

теперь, наверно, смеется над ним. А может, и не смеется. «Может быть, он никогда не простит мне, что в последний наш час я оставил его одного. Да, наш, потому что это ведь был и мой последний час. Нет, только мой. Он пришел за мною. Ему нужен был я, а не вы. Только из-за меня пустился он в этот путь. Это меня хотелось ему видеть мертвым, меня волочить лицом по грязи, пинать ногами в глаза и топтать, чтобы потом меня и узнать нельзя было. Так сделал я с его братом. Но я убил его в честном бою, Хосе Алькансия, я сошелся с ним лицом к лицу, с ним и с тобой — вас было двое против меня, и все-таки ты

плакал и дрожал от страха. С того дня я знаю, что ты за человек, и я понял, как ты будешь мне мстить. Целый месяц я тебя ждал, не смыкая глаз ни днем ни ночью, я ведь знал, ты подкрадешься, таясь, ползком, как ядовитый гад. Но ты пришел поздно. И я тоже пришел поздно. Я тебя упустил. Я задержался из-за похорон новорожденного. Теперь я понял, почему у меня в руках увяли цветы».

«...Нет, всех убивать не надо было, — думал тот, что шагал впереди, по берегу. — К чему было брать на душу такое бремя. Мертвые тяжелее ложатся на совесть, чем живые. Они могут раздавить человека своей

тяжестью. Надо было как следует ощупать каждого, пока не добрался бы до того, кого искал. Ведь у него усы. А что темно, так, пока бы он очнулся, я все равно прикончил бы его, нашел бы, куда ударить... Ну да ладно, видно, так оно к лучшему. По крайней мере, смогу жить спокойно: не будет кому по ним плакать. А сейчас надо поскорей отсюда убираться, а то как бы меня ночь не застигла».

...Долина реки сузилась, перешла в ущелье. Солнце за весь день ни разу не показалось, но по тому, как успели сместиться неотчетливые тени, человек определил, что перевалило за

полдень.

«Теперь ты в ловушке, — сказал его преследователь. Он сидел, отдыхая, на берегу реки. — Из этого ущелья нет выхода. Напакостил — и в кусты? Вот я тебя и уложу головой в кусты. Только ты не думай, что я пойду за тобой дальше. Сам воротишься, потому что ущелье перейдет в каньон и тебе некуда будет податься. Я дождусь тебя здесь. А чтобы не скучать, займусь своим карабином, проверю прицел, примерюсь, с какого места бить, чтобы не промазать. Я терпелив, а у тебя ни терпения, ни выдержки, так что преимущество на моей стороне. И сердце у меня бьется ровно,

потому что через него течет моя горячая кровь, а у тебя сердце стучит и трепыхается от страха и течет через него не кровь, а вонючая грязь. Преимущество и тут на моей стороне. Завтра ты будешь трупом. А не завтра — так послезавтра. Или через неделю. Не важно, сколько пройдет дней. У меня терпения и выдержки хватит».

...Стены ущелья стали отвесными, берега исчезли. Человек остановился. *«Надо поворачивать назад»*, — сказал он себе.

Река в каньоне была широкой, глубокой, без порогов и перекатов. Она текла между высоких каменных стен, словно темное, густое

машинное масло, и если случайная ветка или сучок падали сверху в ее быстрину, она проглатывала их без единого всплеска, бесшумно.

«Сынок, — говорил тот, что сидел в ожидании на берегу реки, — можешь считать, что твой убийца мертв. Какая от этого польза? Никакой, конечно. Но я не сумел тебя защитить: меня не оказалось рядом с тобою. Ну да что тут объяснишь словами. Меня не оказалось рядом с тобою. Этим все сказано. Ни с тобою, ни с ней, ни с ним. Я никого не сумел защитить: новорожденный отбил у меня память».

...Теперь человек шел назад, вверх по реке. Б висках у него

толчками стучала кровь. *«Я боялся, как бы первый не разбудил своим предсмертным хрипом остальных, оттого и поторопился».*

«Простите меня, что я это из-за спешки», — попросил он у них. А потом ему представилось, что это вовсе не хрип, а просто-напросто храп крепко спящих людей. Вот почему он был так спокоен, когда вышел снова под ночное небо, под холодное облачное небо той ночи.

С виду похож был на беглого. Ноги все в грязи, штаны тоже — не угадаешь, какого и цвета была материя.

Я его еще заметил, когда он

прыгнул с берега в реку. Выгнул грудь колесом — и бултых. Плывет вниз по течению, руками не гребет, со стороны скажешь — идет по дну ногами. Выбрался на берег, стал свои лохмотья сушить. А сам, издали видно было, весь от холода трясется. День-то ненастный, да еще ветер.

Просунул я голову через кусты — они пастбище огораживают, где я пасу хозяйских овец, — и гляжу. А у него и в мыслях нет, что за ним подсматривают.

Лег он на живот, уперся руками и ногами в землю и всем телом то приподымется, то опустится, чтобы ветерком со всех сторон обдувало — так скорей обсохнешь. После опять

надел штаны и рубашку — а они у него все драные. И ни мачете при нем, ни другого какого оружия. Только ножны на поясе болтаются пустые, сиротливо этак.

Начал он по сторонам осматриваться, долго осматривался, потом поднялся и пошел. Я уж было с колен привстал и от ограды прочь двинулся, а то как бы овцы не разбрелись, смотрю, назад поворачивает, и по лицу видно — не знает он ни мест здешних, ни дороги.

К реке спустился, добрался до средней протоки, должно, надумал обратно плыть, вверх по течению.

«Что за человек такой, мыслю, и что ему тут нужно было?»

Но не одолел он реки. Бросился в воду, стремнина и закружила его, будто щепочку, еще немного — пошел бы ко дну. Стал он руками выгребать, да где там, не переплыл, сызнова на мой берег вылез, только пониже того места, где я был. А у самого вода изорота хлещет. Наглотался, вот его и рвало, все кишки, наверно, вывернуло.

И опять мокрое с себя долой, остался нагишом и — сушиться. А как оделся, потопал по берегу обратно, в ту сторону, откуда пришел.

Попадись он мне сейчас! Да когда бы знал я, что он натворил, я бы его камнями забил насмерть, и рука бы не дрогнула.

Я уж говорил вам, господин следователь: по лицу видно было, что он за птица. Только ведь чужая душа — потемки, недолго и ошибиться. Я кто? Овечий пастух, и, уж если на то пошло, не храброго десятка парень. Хотя, конечно, вы это верно растолковали, что он меня не видел, и я очень даже просто с налету мог его взять или голову камнем разmozжить — он бы там на месте и остался. Это вы, спору нет, объяснили правильно.

Вот рассказали вы, сколько он загубил народу, и еще этих последних, и простить себе не могу, как же дал я такого маху. Душегуба тюкнуть — да я же со всей моей

охотой, вот как Бог свят. Не подумайте только, что я бандит какой. Но ведь, поди, приятно же знать, что ты помог Господу Богу землю от злодея избавить.

А дело-то на этом не кончилось. На другой день смотрю, опять идет, обратно, значит. Ну, а я-то ничего еще про него худого не знал. Когда бы знать!

Идет, еле тащится, совсем ослабел. Кости сквозь кожу выпирают, рубаха вся изодрана. До того за сутки с лица спал, что поначалу и не признал его, думал, другой кто.

После уж признал — по глазам. Сумные глаза: взглянет, ровно ножом

тебя полоснет по сердцу. Смотрю, наклонился к воде, пьет, а потом рот стал полоскать, отплевываться. Это он потому, что вместе с водой аксолотлей^[4] заглотал, да, видно, немало; заводь та, где он пил, мелкая и вся аксолотлями кишит. Здорово, верно, оголодал. Глаза ввалились — две ямы черные.

Подходит он ко мне. «Твои овцы?» — спрашивает. «Нет, не мои, говорю. Родителей, говорю, своих». В шутку, значит.

Но ему, видать, было не до шуток. Даже не усмехнулся. Глазами только по сторонам зырк-зырк, высмотрел самую крупную матку, какая в стаде была, ухватил ее за

ноги — ручищи-то у него что твои клещи — и ну сосать. Овца не своим голосом кричит, а ему хоть бы что, впился в нее мертвой хваткой, пока не насосался, не отпустил. Искровянил ей все вымя, вот ведь до чего: пришлось креолином смазывать, а то долго ли — загноятся ранки, вымя вспухнет, и пропала овца, — все-то сосцы он ей искусал.

Значит, говорите, он всю семью Уркиди вырезал? Да знай я про это, я бы его дубиной замертво уложил.

Только откуда же мне знать-то было? Живешь тут на горе один, по месяцам живой души не видишь, все с овцами да с овцами. А овцы что, они про людские дела не расскажут.

На другой день опять приходит. Я к реке. Ну и он. То да се, и пошла между нами дружба.

Рассказал он мне, что нездешний, идет из дальних мест, да вот беда — стали ноги отказывать, не держат. «Ковыляю, ковыляю, говорит, и все ни с места. Коленки от слабости подгибаются. А дом мой отсюда далеко, вон там, за горами». Сказал еще, что два дня последних ничего не ел, травой да кореньями питался.

Никого не пожалел, говорите? Вырезал всю семью? Да знай я про такое дело, там бы на месте, пока он моих овечек сосал, и суд бы ему учинил и расправу. Так и остался бы

у меня лежать, и рта бы закрыть не успел.

А поговорить с ним — вроде и неплохой человек. Про жену все вспоминал, про пацанят своих. Горевал, что, мол, далеко теперь они от него. И как начнет про них рассказывать, носом шмыгает: плачет.

А уж тощий! Кожа да кости. В чем только душа держалась. У меня тут ярочка от антонова огня издохла, так он чуть не половину мяса съел. Муравьи к утру здорово тушку обглодали, а что осталось, он на углях обжарил — я костер разводил тортильи печь — и доел. Так обсосал кости — куда твоему псу.

«Ярочка-то, — остерегаю его, — от болезни издохла».

А он будто и не слышал. Съел, кусочка не оставил. Оголодал человек.

А вы теперь говорите, целую семью он вырезал? Да кто же про это знал? Вот и верь людям. Все от темноты нашей. Пастух я, известно, кроме как в овечках своих, ничего не смыслю. А ведь подумать, каждым куском с ним делился, себе тортилью и ему, в одну миску их обмакивали!

Стало быть, выходит, раз я вам все рассказал, как по правде было, я укрыватель? Вот оно как, значит, — укрыватель я. И, дескать, раз я у себя его прятал, так вы обязаны меня в

тюрьму посадить? Ну, скажи, прямо будто это я ту семью зарезал! Я к вам зачем пришел-то? Сказать, что в реке на отмели лежит мертвое тело. А вы мне — кто он, да откуда, да почему его убили. Я вам все по-честному, и я же еще, выходит, укрыватель. Вот те на.

Как перед Богом вам говорю, господин следователь, знай я, что он за гусь, уж я бы исхитрился, пристукнул его, будьте спокойны. Да откуда же мне знать-то было? Чужая душа — потемки, а я не знахарь, чтобы угадывать. Он у меня что? Поест просил, только и всего, да про пацанят своих рассказывал, слезами заливался.

А теперь все равно конец ему пришел. Я думал, он там у воды на камнях отрепья свои сушить разложил. Ан нет, смотрю, непохоже, лежит ничком, во всю длину растянулся, а голова в воде. Сперва помстилось мне: захотел он напиться, ну и плюхнулся носом, захлебнулся и лежит, воду из себя выливает. Подошел поближе, а у него кровь изо рта — шматками, и затылок — весь в дырках, будто их сверлом дырявили. Кто его так — не моего ума дело. Я к вам зачем пришел-то? Рассказать все по правде. Что было, то было, а чего не было, того не было. Мне врать ни к чему. Пастух я и, кроме овец своих, ничего

не знаю.

На рассвете

Ночью спали над селением облака: грелись людским теплом. Но скоро взойдет солнце. Сан-Габриэль, весь влажный от ночной росы, сбрасывает с себя простыню тумана. Она свертывается клубами и неторопливо уплывает ввысь, оставляя здесь и там над крышами оторвавшиеся белесые ленты. От деревьев, от мокрой росяной земли тянется кверху, за уходящими облаками, чуть приметный сероватый парок и тут же истаивает. А вслед за ним, заволакивая мутью прояснившееся небо, поднимаются

первые черные дымы очагов, и в воздухе растекается запах горящего антильского дуба.

Горы вдали еще одеты мраком.

В вышине мелькнула над улицами ласточка; чуть погодя ударили первые утренние колокола.

Огоньки в окнах гаснут. Теперь селение кажется издали просто мглистым пятном, оно дремлет в рассветном сумраке, оттягивая минуту окончательного пробуждения.

По обсаженной камичинами дороге на Хикильпан едет верхом на корове старик Эстéбан, гонит стадо домой на утреннюю дойку. Корову он оседлал, спасаясь от распрыгавшейся

пешей саранчи. Он защищает лицо, отмахиваясь от голенастых прыгунов широкополым сомбреро. Из его беззубого рта время от времени вырывается что-то похожее на свист — старик подгоняет отставших коров. Коровы идут, пережевывая жвачку, не торопясь, ноги у них по самое брюхо в росе — от высокой травы. Светает. Из Сан-Габриэля доносятся звуки утреннего благовеста. Эстебан слезает с коровы, опускается посреди дороги на колени и, вытянув руки, складывает их в крестное знамение.

Откуда-то поблизости, вероятно из дуплистого придорожного дерева, раздается гуканье совы. Эсте-бан

поспешно взбирается на корову. От страха ему стало жарко, и он стягивает с себя рубашку: ветерок обвеет жар, а с жаром и страх пройдет.

«Одна, две, три, десять», — пересчитывает он коров, когда они проходят в ворота околицы. Одну корову он останавливает, взяв за уши. «У-у, дуреха, — говорит он ей, вытягивая губы. — Ничего-то ты не знаешь. У тебя сегодня сына отнимут. Плачь не плачь, а больше тебе его не видать — последний день». Корова смотрит на него своими спокойными глазами, обмахивается хвостом и шагает дальше.

В воздухе плывет последний удар колокола.

Над дорогой проносятся зигзагами ласточки. Может, они из Хикильпана, а может, и здешние, из Сан-Габриэля. Ну да какая разница. На лету ласточки окунаются грудью в лужи. У той вон что-то в клюве зажато, а эта унесла на хвосте комочек грязи. Они взмывают вверх над дорогой и пропадают из глаз, растворяясь в утренних сумерках.

Облака протянулись теперь далеко, вдоль горной гряды, отсюда они кажутся серыми заплатами, кое-как нашитыми на складчатый подол синих гор.

По небу многоцветьем

карнавального серпантина побежали, запереливались рассветные краски: пурпурные, оранжевые, желтые. Старик Эстебан загляделся. Звезды померкли, только самые яркие еще искрятся, но и они гаснут: вот из-за горизонта брызнуло солнце, выкатилось ослепительным шаром, — и на каждой травинке зажглось, заиграло махонькое дрожащее стеклышко.

«Я — не помню уж почему — скинул рубашку, так и ехал. Иззяб на утреннем ветерке, аж кишки в животе заоченели. Подъезжаю к скотному двору, слез, стучу в ворота. Не отворяют. Камнем стал колотить.

На куски камень у меня в руке рассыпался. И опять никто не выходит. Ну, думаю, дрыхнет дон Хусто — это хозяин мой. Я, конечно, коровам ни слова, им ведь не втолкуешь. Потихонечку, чтоб не заметили они, в сторонку отошел — и за угол, а то бы всем стадом за мной увязались. Отыскал, где стенка пониже, перелез и бухнулся — прямо к бычкам угодил. Ладно, иду ворота растворять. И только это я за запор взялся, глядь: хозяин мой, дон Хусто, сверху спускается, из надстройки, да не один, барышню Маргариту, сонную, на руках тащит, и через двор — к дому. А меня не видит. Я так весь в стенку и врос — только бы не

заметил. И похоже, пронесло. А может, зря я на это понадеялся».

Старик Эстебан сел доить коров, пропуская их в ворота одну за другой. Ту, у которой отнимали теленка, он оставил напоследок. Она жалобно мычала, стоя за оградой. «Так уж и быть, на прощание, — смягчился он, впуская корову. — Лижи, вылизывай свое ненаглядное дитяtko, считай, что с сегодняшнего дня для тебя его больше на свете нету. Скоро вон нового родишь, а все на этого дылду не надышишься. Ладно уж, пососи в остатний разок, — милостиво разрешил он молодому бычку. — Дурень ты дурень, не видишь, что ли, что молочко-то для

маленького, вон какое сладкое да густое. Ах ты, сучье племя! — заорал он на теленка, когда тот захватил губами все четыре соска. — А в морду не хочешь?!» — и он стал отгонять его от коровы, пиная ногами.

«И верно, всю бы морду ему разбил. Да только вдруг откуда ни возьмись налетел на меня хозяин, дон Хусто, — и уж тут не я теленка, а хозяин меня начал сапожищами вразумлять. Так отделал, что я чуть не замертво на камни повалился, костей, думал, не соберу. Все утро я там пролежал, среди камней, вроде как в сонном забытьи, подняться сил

не хватало. Живого места на мне не было, распух весь, а уж саднило — не пошевелиться, до сих пор еще кости ломит.

Что после было? Не помню. Не стал я у него больше работать. Да и другие тоже. Потому — помер он. В тот же самый день. А вы что, не знали про это? Я дома на кровати лежал, старуха возле меня хлопочет, пластыри клеит, примочки прикладывает. И тут приходят ко мне с новостью: хозяин, мол, помер. И, дескать, это я его убил — так люди говорят. А может, и правда, убил я его, а? Но я этого не помню. Шутка ли, человека убить! Какая-никакая, а должна ж у тебя память об этом

остаться? Вы как думаете? Беспременно должна, а уж если хозяина, так и толковать нечего. Выходит, не убивал. Но ведь в тюрьму-то так, зазря, не посадят, за здорово живешь, верно? Хотя, если по порядку взять, так я только до той минуты помню, как бычка ударил и как хозяин на меня налетел. Это вот как сейчас перед глазами стоит, а дальше — туман один. Ровно бы я вдруг ни с того ни с сего в сонное забытье провалился, уснул мертвецким сном. После уж, когда очнулся, вижу, на кровати у себя лежу, рядом старуха моя толчется, утешает, потерпи, мол, уймется боль; право, будто я дитя малое, а не

старый, трухлявый пенё. Осердился я даже: „Будет тебе, раскудахталась!“ Очень хорошо помню, так ей и сказал. Как же оно может быть, этакий пустяк помнить, а человека убить — и не помнить? А ведь вот все равно говорят, будто это я дона Хусто жизни решил... Так-таки и говорят, что, мол, я? Да? И про камень? Что будто бы камнем голову ему раскроил, а? Глядите-ко вы. Ну что ж, камень — это вполне могло быть. Скажи они, что с ножом я на него набросился, уж точно была бы напраслина, я ножа отродясь при себе не держал, парнишкой разве, так с тех пор сколько воды утекло!»

Хусто Брамбила осторожно уложил племянницу на постель. Старался не шуметь. Упаси Бог, сестра в комнате рядом проснется. Два года назад ее разбил паралич, с тех пор она сон потеряла. Лежит у себя в спальне, тело — будто тряпичное: ни рукой, ни ногой; одни глаза — живые, и не смыкает она их ни днем ни ночью. Перед утром только соснет часок-другой — и все. Но уж зато и спит — как мертвая. А просыпается с солнцем. Вот и сейчас как бы не разбудить.

И верно, не успел Хусто Брамбила уложить сонную Маргариту в постель, как сестра проснулась. Расслышав за

перегородкой дыхание спящей дочери, она спросила: «Куда это ты, Маргарита, ушла вчера вечером?» Хусто Брамбила, не дожидаясь пока она раскричится и разбудит дочь, выскользнул из комнаты.

Было шесть утра.

Он вышел на скотный двор, чтобы растворить ворота для старика Эстебана. Надо было еще заглянуть наверх, в надстройку, убрать постель, где они с Маргаритой провели ночь. «Разрешил бы священник, я бы на ней женился. Да разве он допустит? Заикнись ему, такое поднимет... Кровосмешение, грех смертный! Обоих от церкви отлучит. Уж лучше тайком. Не тронь лиха...» —

рассуждал сам с собой Хусто Брамбила, когда вдруг увидел, что старик Эстебан вцепился в бычка: ухватил костлявыми руками за опущенную морду, а ногами по голове, по голове. Того и гляди, насмерть забьет скотину, теленок уже еле стоит, копыта в разные стороны разъезжаются.

Хусто ринулся на старика, рванул за шиворот, бросил на камни и в бешенстве стал топтать сапогами, выкрикивая ругательства, смысла которых старик так и не понял. Но вдруг в глазах у Хусто потемнело, он почувствовал, что валится — валится наземь, на каменные плиты двора. Он попытался подняться, но снова

упал. Потом упал в третий раз — и остался лежать. Он силился разомкнуть веки, но навстречу плыла какая-то черная муть. Боли не было, только все гуще и гуще надвигалась, туманя мысли, непонятная чернота, пока не закрыла собою все.

* * *

Старик Эстебан поднялся на ноги, когда солнце уже стояло высоко в небе. Он двигался будто слепой, на ощупь, и при каждом шаге у него вырывался стон. Кое-как отворил он ворота и выбрался на улицу. Кое-как, вслепую, дотащился

до своего дома, веки у него не разлипались, и там, где он проходил, на дорогу струйкой стекала кровь. Войдя в дом, он рухнул на кровать и снова впал в свое сонное забытие.

Часов в одиннадцать утра на скотный двор выбежала, вся в слезах, Маргарита. Она искала Хусто: мать все утро точила ее и под конец обозвала непотребной девкой.

Она его нашла. Хусто Брамбила лежал во дворе мертвый.

«А теперь говорят, я его убил. Может оно и правда. А может, это с ним от гнева удар сделался. Нравный он был, все ему не так, все не по нем. И кормушки, видишь ли, грязные. И

воды в поилки не налито, и коровы отощали. Все не так. И я, дескать, больно уж тощий. Тоже, видишь, не по нутру. А с чего же мне в теле-то быть, если жрать нечего. Да и некогда. С зари до зари возле коров. На пастьбу гони стадо в Хикильпан — выгон он себе там купил; а напасутся — гони на зорьке обратно, домой. Вроде паломничества бессрочного.

И вот, видите, за решетку посадили. На той неделе суд надо мной будет, потому что, мол, я дона Хусто злодейски убил. А я не помню. Хотя, может, и так — убил. Кинулись друг на друга по злобе, сослепу, и невдомек, что один другого убивает.

Все может быть. Годы мои такие, что память подводить начинает. Я и говорю, все в руке Божьей: лишат меня жизни — невелика потеря: сил-то во мне все равно никаких уж не осталось. А душу свою тебе, Господи, вручаю».

Снова окутался туманом Сан-Габриэль, снова кажется он издали мглистым, темным пятном, и только там вон, по краю синих гор, еще золотится солнечный свет. Потом спускается ночь. Но огни в окнах не загораются. Сегодня траур по дону Хусто, по хозяину, а огни в домах зажигали всегда лишь с его милостивого разрешения. Всю ночь

до самой зари воют в Сан-Габ-риэле собаки. Всю ночь до самой зари горят за цветными стеклами церковных окон высокие свечи — идет ночное бдение над усопшим. Вплетаясь в ночную полудрему, поют женские голоса: «Освободи, Господи, души всех верных умерших от адских и чистилищных мук». Всю ночь до самой зари звонят по мертвому церковные колокола, и лишь с восходом солнца прерывает их обычный утренний благовест.

Тальпа

Наталия бросилась к матери на шею и заплакала. Плакала тихо, долго. Она много дней копила эти слезы в себе, сдерживала их — а пришли мы домой, в Сенсонтлу, и она увидела мать, тут ей, верно, и захотелось, чтобы ее утешили.

Но в те страшные дни, когда нам столько пришлось вынести, и даже потом, в Тальпе, когда мы с ней вдвоем, своими лишь силами — нам ведь ни одна живая душа не помогла — рыли яму, чтобы схоронить Танило, и голыми руками выдирали комья земли, да еще торопились

скорей закопать, чтобы люди больше не пугались могильного этого духа, какой еще от живого от него шел, — нет, тогда Наталия не плакала.

И после — не плакала, когда мы назад возвращались, когда ночами шли и шли, не давая себе отдыха, словно хотели уйти от самих себя; да и не шли мы, а брели вслепую, как лунатики, и чудилось нам: не башмаки это наши стучат по дороге, а падают комья земли, погребая Танило. Наталия была как каменная: зажала свое сердце, чтобы и не слышать, что оно еще бьется. Ни слезинки за всю дорогу не проронила.

А домой пришли, упала матери

на грудь и заплакала. Чтобы и мать ее горе почувствовала, узнала, какая у нее на душе тяжесть. Ну и нас, остальных, тоже от ее слез тоска взяла. А мне эти слезы прямо в сердце лились, будто она их из наших грехов выжимала, как выжимают воду из мокрой тряпки.

Вышло-то как? Убили мы Танило Сантоса, моего брата. Убили. Мы с Наталией. В Тальпу его повели, чтобы умер. И верно: умер он. Мы ведь знали, не вынести ему такой долгой дороги. Знали, а тащили силком, подталкивали, чтоб шел. Одного хотели — избавиться от него, кончить раз и навсегда. И прикончили.

Насчет Тальпы это брату Танило
первому мысль пришла. Он сам
придумал. Он уж который год все нас
упрашивал свести его в Тальпу.
Который год. С того самого дня, как
проснулся утром, а у него руки и
ноги все в багровых волдырях. Из
волдырей этих вскорости язвы
поделались, но только не кровь
сочилась из них, а дрянь, желтая,
густая, с виду на копаловую смолу
схожа, и еще — жижа водянистая.
Никогда не забуду, как он в ту пору
стал говорить, боюсь, мол, не
исцелиться мне от этой болезни. Вот
он и надумал идти на поклонение
Пресвятой Деве Тальпской —

дескать, одного ее милостивого взгляда довольно, чтобы зажили его язвы. Он знал, что до Тальпы неблизкий путь и придется идти долго, в дневной жар и в ночной холод, дело-то в марте будет, но он все твердил: пойду, надо идти. Пресвятая смилуется, укажет средство против недуга, а то совсем ведь не заживают язвы, мокнут да мокнут. Пресвятой все ведомо, все в ее руке, какая бы на тебе грязь ни была, она все с тебя смое, и воспрянешь ты для новой жизни, как поле после щедрого дождя. Упаду, говорит, перед ней на колени — и всем бедам моим конец, здоровым встану и забуду, когда у меня что и

болело.

Вот мы с Наталией за это и ухватились: взялись отвести его в Тальпу. Я пойду, потому что я ему брат. И Наталия пойдет, ей-то уж непременно надо: она ему жена. Она и туда, а понадобится, и обратно под руку его поведет, поддерживать будет, при случае и плечо подставит — так, потихоньку-помаленьку, и дойдет он со своей надеждой до Тальпы.

А я уже знал, что у Наталии на сердце. Да, кое-что я про нее знал. Про ноги ее знал, что они круглые, крепкие и горячие, как камни в полдень под солнцем, и что одинокие они, и уже давно. Знал я про это. Но сколько ни случалось

нам бывать с ней с глазу на глаз, всякий раз вставала между нами тень Танило: будто он свои руки в язвах между нами протягивал и уводил от меня Наталию к себе, чтоб и в мыслях ничего у нее не было, кроме как за ним ухаживать. И так — думалось мне — оно будет всегда, пока он жив.

Теперь Наталия кается, знаю. И я каюсь. Но сколько ни кайся, не будет нашей душе покоя до скончания дней. От совести не убежишь. Загрызет она нас, хоть Танило все равно не жилец был, и никакая Тальпа ему бы не помогла, тем более путь такой дальний. Не там бы помер — так здесь. Но здесь,

конечно, малость бы еще протянул. Дорога-то последние силы у него съела, и крови сколько лишней вытекло, да и расстройство и мучение, вот оно все вместе его и доконало. Одно плохо. Как почувствовал он, что богомолье это ему без пользы, идти дальше не захотел, просить стал, чтобы мы с ним назад домой воротились, а мы с Наталией его не слушаем, силком тащим да еще подталкиваем, а упадет, с земли рывком поднимем и понукаем — раз уж взялся, мол, надо идти, куда мы теперь назад, до Тальпы меньше осталось, чем до дому. А на самом-то деле до Тальпы еще далеко было — много дней пути.

Просто мы смерти его хотели. Прямо скажу, мы еще дома, в Сенсонтле, перед тем как в путь двинуться, и потом в дороге, пока до Тальпы добирались, только об этом и думали. Сейчас вот и самим не верится, а тогда хотели, я это хорошо помню, хотели, чтобы он умер.

Да, врезались мне в память те ночи. Как свечерееет, бывало, разожжем костер из сосновых веток, а прогорит он и уголья под пеплом погаснут, станет темно, тут мы с Наталией поднимаемся и уходим, местечка какого-нибудь поукромнее ищем, чтобы Танило нас глазами не достал и чтобы звезды на нас с небес не глядели. Мало ли места в поле

темной ночью? И оттого, что знаем: одни мы с ней, только поле кругом, — от пустоты, от темноты этой так нас друг к другу и кинет. Обойму ее всю, и вроде ей от этого легче станет, вроде отойдет от нее дневное, про все она позабудет, а после и уснет — тело расслабленное, покойное, будто от всех тягот она разом освободилась.

Засыпали мы с ней на голой земле, потому что земля всегда была теплая. Наталия полежит, бывало, самую малость, а уж тело у нее — у жены брата моего Танило — от тепла этого огнем полыхает. От земли жар, и от нее жар, так тебя всего и жжет. Сразу проснешься. Руки сами к ней

тянутся. Сперва тихонько, коснешься только, а после и сам не заметишь, как по горячему, по жару ее шарить начнешь, жмешь, тискаешь, будто всю кровь из нее выжать хочешь. Задремлешь потом и опять проснешься. И так до самой зари, каждую ночь. Только уж на рассвете повеет холодный ветерок и жар у нас в теле поостудит. Вот как проводили мы с Наталией ночи у дороги на Тальпу, пока вели Танило к Пресвятой Деве на исцеление.

Теперь это прошло. Танило исцелился. Не только что от болезни — от самой жизни. И уж он теперь не расскажет, какая это мука жить, когда тело все в язвах, словно тебя

отравой извели, и весь ты гнойной жижей сочишься, царапни кожу на руке или ноге, так и потечет, а после язва сделается, поначалу еще ничего, небольшая, а разрастется — смотреть страшно, и воздух из нее пузырями вырывается, как из гнилья какого.

Но вот умер он, и все иначе представляется, не так, как оно было. Теперь Наталия слезы льет. Может, чтобы он с того света видел великое ее раскаяние. На этих днях говорила даже, будто лицо он ей свое показал, явился вроде. И то: ведь, кроме как на лицо его поглядеть, никакого ей от него утешения больше не оставалось, да и лицо-то все в поту от боли непереносимой. И вот привиделось

ей, будто тянется он губами к ее губам, в волосы ей зарылся и на ухо шепчет тихо-тихо, просит помочь ему. Мол, исцелился он, и теперь здоровый, нигде никакой боли не чувствует. «Теперь, говорит, могу, Наталия, побыть с тобой. Помоги, чтобы побыть мне с тобою». Будто бы так он ей говорил.

Похоронили мы его в Тальпе и пустились в обратный путь. Мы его глубоко закопали, надежно, только могилу вырыли узкую, вроде щели.

И с того дня Наталия про меня забыла. Раньше у нее глаза блестели, как два озера под луной. А теперь потухли, ровно бы взор густой пылью заволокло. И смотрит, будто ничего

вокруг себя не видит. Ради Танило, выходит, она жила; ухаживала за ним, пока болел; похоронила, когда пришел его смертный час. А без него ей теперь и жизнь не в жизнь.

Целых двадцать дней потратили мы, пока до шоссе добирались, которое в Тальпу ведет. До этих пор шли мы втроем. А тут со всех сторон стал народ подваливать. Шоссейная дорога широкая, но люди сплошняком идут — взглянешь и скажешь: река. Тут уж хочешь не хочешь — шагай, не останавливаясь, и с боков подпирают, и сзади подталкивают; и не разойтись, будто пылью дорожной нас всех вместе

опеленали и тянут неведомо куда. Столбом она над дорогой стояла, пылища эта, — белая, как полова маисовая, не оседала ни на минуту. Где уж! Народ толпой валит, сапогами ее взбивает. И так весь день: под ногами пыль и над головой пыль. Да еще и небо вверху просвечивает без единого облачка, только что пыль его застит, да тени-то от пыли — никакой.

Идем, а сами не дождемся: скорей бы ночь, чтобы от солнца отдохнуть да чтоб белая дорога глаза не слепила.

А дни все длинней становятся. Вышли мы из дому в середине февраля, пока шли, март наступил:

рассветает рано. Не успеешь вечером глаза закрыть, глядь, солнце тебя уже разбудило, а ведь кажется, сейчас только закатилось.

Никогда я не думал, что дни так тянуться могут. Жилы они из нас вытянули. Народ на дороге кишмя кишит, точь-в-точь куча червей на солнце в пыли копошится. Со стороны посмотреть, так вроде бы это пыль нас всех на одну дорогу загнала, отгородила своими полотнищами от белого света и тянет за собой.

Куда ни глянешь — пыльная муть перед глазами, и ничего ты сквозь нее не разглядишь, кроме пыли. Даже небо от нее серое

сделалось, так и висело над нами, словно свинцовая плита, вот-вот придавит. Только когда речка на пути попадалась, пыльная туча редела и уходила кверху. А мы голову разгоряченную, как уголь почернелую, окунем в прохладную воду, вынырнем, и чудно нам: пар ото всех идет, как в холодный день дыхание изо рта. И снова пылицу глотать, совсем в ней утонем, а солнцу нипочем, жарит и жарит; одно спасение: друг за дружкой хоронимся, но все равно каждому достается.

И у каждого мысль: ночь придет. Придет ночь, и мы отдохнем. Только бы вот сегодняшний день дотянуть,

дотерпеть до вечера, спастись от солнца. И тогда будет привал. Потом. А покамест, хоть из последних сил, шагай, шагай, поторапливайся. Не отставай от тех, что впереди, не мешай тем, что сзади. Их и перед тобой и за спиной у тебя — тысячи. Идти, идти надо. А отдохнем после смерти — ото всех мук.

Вот мы о чем думали, когда шли с толпой богомольцев по шоссе в Тальпу: и Наталия, и я, а может, и сам Танило. Мы спешили, хотели первыми прийти на поклонение Пресвятой Деве, пока она еще не кончила совершать чудеса.

Но Танило совсем расхворался. У него потрескалась кожа на ногах, а

из трещин поделались кровавые раны. И тогда он сказал, что дальше не пойдет. Стали мы его лечить, и раны зажили. А он свое, не пойду дальше и не пойду.

«Я, говорит, лучше здесь день-другой посижу, а потом назад вернусь, домой».

Но мы с Наталией не захотели возвращаться назад. В нас с ней словно злой дух какой-то вселился. Будь там Танило или кто другой, мы тогда ни к кому жалости чувствовать не могли. Нас вперед гнало, в Тальпу. Танило еще в те дни не совсем плох был, мог идти. Наталия оботрет ему ноги водкой, чтобы меньше опухали, подбадривает, уговаривает, что, мол,

только Пресвятая Дева его исцелить может, только ей такое чудо под силу, чтобы его от хвори избавить, только на нее и надежда, на Пресвятую Деву Тальпскую. Конечно, есть и другие, в каждом месте Пресвятая Дева своя. Но настоящая помощь — только от той, что в Тальпе. Так Наталия его уговаривала.

Танило слушает и плачет, и на потном его лице остаются дорожки от слез. Потом ругать себя начнет за непокорство. Наталия ему концом своей шали слезы вытрет, поднимем его вдвоем с земли и тащимся дальше, чтобы дотемна еще хоть немного пройти.

Так вот, чуть не волоком,

дотащили его до Тальпы.

Последние дни мы уж и сами с Наталией из сил выбились. До того замучились, что к земле пригибать стало, будто на плечах у нас непомерная тяжесть и к ногам по гире привязано. Танило то и дело падает, мы его поднимаем, а случается, и на себе тащим. Оттого, может, так и извелись, тела на костях не осталось, еле плетемся. Люди-то рядом с нами быстро шагают, ну и мы за ними тянемся, отстать боимся.

А ночь придет — и утихнет людское половодье. В поле сбочь дороги костры горят, и вокруг огня народ собирается, обернутся лицом в сторону Тальпы, руки скрестят, глаза

к небу возведут — читают вечерние молитвы. Ропот над полями стоит, и ветер его туда-сюда носит, голоса перемешивает, и уже не ропот слышится, а только одно непонятное, то ли стон, то ли мычание. Потом все затихает. Лишь в полночь другой раз долетит издали одинокая песня. Проснешься от голоса и опять закроешь глаза, но до рассвета так уж и не заснешь.

Вошли мы в Тальпу с пением славословия Богородице.

Из дому мы в середине февраля тронулись, а в Тальпу пришли — март кончался. К этому времени многие паломники назад возвращались. Отстали же мы еще и

потому, что Танило вбил себе в голову: ему надо идти не как на богомолье, а как на покаяние. Увидел, что у кающихся колючие листья напаля^[5] на манер скапуляра навешаны, — и ему такой же надо. Мало того, рубашку снял и рукавами себя стреножил, чтобы еще трудней идти было. А немного погода терновый венец на голову надел, потом глаза завязал. А когда к городу подошли, на колени опустился, руки заложил за спину и так вот, на коленях — до кости он их себе ободрал, — вошел в Тальпу, и уж сам я не знал, то ли брат это мой Танило Сантос, то ли неведомо что такое. Ведь на нем еще и повязки, а от

колючек по лицу и телу черная кровь бежит, и гнилостью тяжелой от него тянет, будто от околевшей скотины.

И вот кто бы подумал. Не успели оглянуться, смотрим, он в круг протискивается, к танцорам: в пляс пустился, в руках бубен, и ногами своими босыми, почернелыми от язв, топ-топ, изо всей силы. В раж вошел, кружится, будто всю тоску, все свое горе с себя сбросить хочет или болезнь затоптать, чтоб хоть еще немного пожить ему дала.

А может и то, что увидел он пляску, и вспомнилось ему, как он каждый год ходил в Толиман на храмовый праздник. Бывало, всю ночь напролет пропляшет, уже и ноги

его не держат, а он даже не задохнется, будто и впрямь устали не чувствует. Может, вспомнилось ему то время и захотелось потряхнуть стариной.

Но недолго он плясал. Одну только минуту видели мы с Наталией его посреди круга. Потом смотрим, руки вверх вскинул и оземь грянулся, бьется на земле, бубен у него в пальцах так и звенит, и пальцы — все в крови. Вытащили мы его из круга, а то бы несдобровать ему между плясунами, они ведь как разойдутся, себя не помнят, и камни им нипочем, молотят землю ногами, сами не заметят, как растопчут.

В церковь мы его уже на себе

втащили, словно параличного. Наталия на колени встала и его рядом с собой на колени поставила, как раз напротив Пресвятой Девы Тальпской. А Пресвятая-то махонькая, ростом совсем невеличка — вроде куклы, только что раззолоченная. Начал Танило молиться, и слеза у него из глаз выкатилась, тяжелая, большая — из самого сердца, видно. И погасила свечу, которую Наталия ему в руки дала. Но он не заметил. Столько кругом свечей горело, и такое сияние от них шло, что его вроде бы оторопь взяла: не соображает, что вокруг делается. Молится, а свеча-то у него в руках погасшая. Громко он молился,

чуть не в крик, чтобы слышать свою молитву.

Но не помогло ему. Все равно умер.

А священник тем временем проповедь читал:

«Из глубины нашего сердца воссылаем мы к ней одну и ту же проникнутую скорбью мольбу, к ней возносим наши исполненные упованием жалобы. И милосердие ее не остается глухо к нашим стенаниям и слезам, ибо она страждет вместе с нами. Она рассеивает мрак в душах наших, смягчает и очищает наши сердца, дабы сподобить нас своей благостыни и любви. Пресвятая Дева, Мать наша, не о наших

грехах помышляет; вину за грехи наши она берет на себя. В объятиях своих желала бы она укрыть нас от горестей жизни. Вот она тут, рядом, с нами, она подает силы усталому, врачует душевные раны, укрепляет истерзанное страданиями, молящее об исцелении тело. Наша вера в нее растет с каждым днем, и она, Всеблагая Матерь наша, знает это, ибо мы, не скупясь, жертвуем на алтарь ее».

Так говорил со своей кафедры священник, стоя над нами. А когда он кончил, все разом начали молиться. Загудело в церкви, будто осиный рой из гнезда выкурили.

Но Танило уже не слышал

проповеди. Смотрим, согнулся он, голову чуть не до земли уронил. Наталия потянула его за руку, чтобы встал с колен, — а он мертвый.

На улице народ пляшет, барабаны бьют, дудки дудят, звон колокольный. А меня такая тоска вдруг взяла. Кругом жизнь кипит, огни сверкают, Пресвятая нам с Наталией улыбается, а Танило рядом со мной — мертвый, помеха всему празднику. Тоска меня взяла.

Но ведь мы-то как раз затем туда его и вели, чтобы он умер, это я твердо помню.

И вот мы вернулись домой. Вдвоем, без Танило. И мать Наталии

ни о чем меня не спрашивала, ни про то, куда девался мой брат, ни про что другое. А Наталия обхватила ее руками за шею, заплакала и рассказала, как было дело.

Мне все мнится, будто мы так и не вернулись домой. Будто остановились тут на привал, а когда отдохнем, снова двинемся в путь. Куда — не знаю, но только тут не останемся. Тут нас совесть заест, а память про Танило не даст покоя.

Тут мы с Наталией, того и гляди, бояться друг друга станем. К тому идет. Ведь с тех пор, как мы Танило похоронили, словом между собой не перекинулись. Может еще и потому молчим, что Танило у нас из головы

не выходит, все видится, как мы его, мертвого, в циновку заворачиваем, а над ней мухи навозные тучей вьются, и уже внутри, в циновке, жужжат; а нам кажется — это у него хрип изо рта. Мы ему с Наталией, сколько ни старались, никак рот закрыть не могли, вот нам и чудилось: воздух он ртом хватает, еще разок хочет вздохнуть. Все время он у нас перед глазами — мертвый. Ведь уже не больно ему тогда было, а лицо мукой перекошено, пальцы на ногах и руках скрючены, глаза открыты, да так широко, будто он смерти своей в лицо смотрит. Тело все в язвах, а из них жижа сочится желтоватая — и запах от нее. Нигде нам от этого

запаха спасения не было, даже, кажется, языком я его чувствовал: сладковатый он, густой, вроде меда, только горечью отдает, глотнешь воздуху, и горечь эта всего тебя до мозга костей пронимает.

Здесь остаться — всю жизнь Танило, мертвого, перед собой видеть, всю жизнь вспоминать, как мы его на кладбище в Тальпе хороним, как вдвоем с Наталией могилу землей и камнями засыпаем, чтобы дикие звери ее не раскопали.

Равнина в огне

*Убили суку, да щенята
остались...*

Народная песня

«Да здравствует Петронило Флорес!» — прокатилось по оврагу, отдаваясь эхом от склонов.

Когда крик затих, ветер донес снизу гул человеческих голосов, и нам почудилось: там, внизу, грохочет на каменистом перекате разбушевавшаяся река.

«Да здравствует генерал Петронило Флорес!» — опять взмыло в вышину за коленом оврага

и, ударяя в откосы, рухнуло обвалом вниз.

Мы переглянулись.

Сука медленно поднялся на ноги, вынул из магазинной коробки своего карабина обойму, сунул ее в карман рубашки, потом подошел к «Четверке» и сказал: «Пойдемте, ребята, посмотрим, кого это нам Бог посылает. Доброму тореро не грех поинтересоваться, что за бычков пригнали для боя».

Четверо братьев Бенавидес двинулись вслед за ним. Они шли, пригибаясь. Только Сука шагал, не таясь, во весь рост, хотя стена ограды укрывала его поджарое тело лишь до пояса.

Остальные не тронулись с места. Мы лежали по-прежнему, растянувшись вдоль ограды, животами кверху, как игуаны на солнцепеке.

Каменная стена извивалась по склону, уходила то вверх, то вниз. Сука и «Четверка» шли гуськом, повторяя ее изгибы; издали было похоже: ползет змея или какой-то невиданный зверь со связанными ногами. Скоро они пропали у нас из виду. А мы снова уставились глазами в небо. Над нами нависали низкие ветви сапиндусов, только тени от них было негусто. И пахла эта тень не прохладой, а раскаленным солнцем и вонючим сапиндусовым мылом.

Нас одолевала полуденная сонливость.

Но снизу, из глубины оврага, то и дело накатывался многоголосый шум и стряхивал с нас дремоту. Мы напрягали слух, силясь разобрать хотя бы отрывочные слова. Нет, напрасно. Все тонуло в рокочущем гомоне, и нам чудилось — где-то далеко по камням узких улочек мчатся громыхающие повозки.

Грянул выстрел. Овраг отозвался на него грохотом, будто разом обрушились оба его склона. И вмиг все стало по-другому. Взлетела вверх стая пестрых арам^[6] — только что они беззаботно играли в зелени сапиндусов. Очнулись от полуденной

дремы цикады и затрещали, закрипели, как очумелые.

— Что это? — спросил Педро Самора, перебарывая сонное оцепенение.

Чиуила поднялся и двинулся вслед за пятеркой ушедших. Карабин он волочил за собой, будто суковатую палку.

— Пойду погляжу, что там такое. — И он скрылся у нас из виду, как и те, что ушли раньше.

Мы так одурели от звона цикад, что даже не заметили, в котором часу это все началось. Мы прохлопали появление врага и теперь очутились лицом к лицу с ним почти безоружные, не готовые к бою.

Скорей всего и федералисты не готовились к встрече с нами, их ждали впереди какие-то совсем другие дела.

Перевернувшись со спины на живот, мы прильнули к амбразурам, проделанным в каменной стене.

Бот показался первый ряд, за ним второй, третий. Они шагали сонные, устало сутулясь. Потные лица блестели, будто солдаты только что сполоснули их на ходу из ручья.

Они шли и шли.

Раздался протяжный свист — наш условный сигнал. Вдали, в той стороне, где скрылся Сука, поднялась ружейная трескотня. Мы тоже взяли за карабины.

Это было проще простого. Нас разделяло расстояние в каких-нибудь четыре шага, фигуры солдат чуть не заслоняли собой всю амбразуру. Мы стреляли почти в упор, так что они отправлялись в царство небесное без пересадки, даже не успевали, наверно, заметить, что убиты.

А все-таки они быстро сориентировались. Мы дали залпа два, не больше, и пространство перед стеной опустело. Когда мы высунулись в амбразуры, на дороге лежали одни только неподвижные тела. Можно было подумать, что их сбросили сюда с высоты, оттого-то у них и вывернуты так чудно руки, ноги и головы.

Живые исчезли. Мы скоро их увидели снова, но пока что на дороге не было ни души.

Нам не терпелось разрядить карабины в третий раз, но пришлось ждать. «Да здравствует Педро Самора!» — гаркнул кто-то из наших — не выдержал.

В ответ из-за ограды долетел тихий голос, почти шепот: «Боженька, миленький, спаси меня! Спаси меня! Пресвятой Младенец Аточский, помоги мне!»

Над нашими головами пронеслись две-три стаи птиц. Дрозды. Они летели в сторону гор.

Третий залп прогремел сзади. На этот раз стреляли они. Мы

вскочили на ноги и, перемахнув ограду, очутились на дороге. Пришлось прыгать через тех, кого мы только что убили.

Мы уходили перебежками по кустарнику. Пули щелкали оземь у самых наших пят, ни дать ни взять туча потревоженной пешей саранчи. И все чаще то тут, то там падал с хрустом перебитых костей кто-нибудь из наших — пуля угодила в цель.

Мы бежали, не передыхая. Вот и край оврага; мы кинулись вниз по обрыву, не разбирая дороги, будто в пропасть.

А они все стреляли. Мы уже были на другой стороне, а они

продолжали стрелять. Мы карабкались на четвереньках, как барсуки, которых выкурили из нор.

«Эй вы, сукины дети! Да здравствует генерал Петронило Флорес!» — прокричали они нам вдогонку. И крик их раскатами грома загрохотал вниз по оврагу.

Мы лежали, хоронясь за громадными валунами, и никак не могли отдышаться — только молча таращились на Педро Самору, спрашивая взглядом — что же это такое. Но и он смотрел на нас — и молчал. У нас у всех словно язык отнялся, сделался тяжелее свинчатки: хочешь слово сказать, а он не шевелится.

А Педро Самора все нас оглядывал да оглядывал. Считал, переводя глаза с одного на другого: они у него особенные были — глаза: веки красные, белки в кровавых прожилках — так бывает, если часто недосыпать. Он уже сосчитал, сколько нас осталось, но, как видно, все еще сомневался. И вот пересчитывал снова и снова.

Не все добрались до камней. Человек одиннадцать-двенадцать полегли у ограды и в кустарнике, не считая Суки, Чиуилы и тех, что ушли с ними. А может, Чиуила успел взлезть на сапиндус, затаился среди ветвей, подложил под себя вместо перекладки карабин и теперь

дожидается, скоро ли уйдут федералисты?

Первыми высунулись из-за камней сыновья Суки — их обоих звали Хосе. Сначала приподняли голову, потом встали в рост и двинулись к тому месту, где укрылся Педро Самора. Они смотрели на него, как бы спрашивая, что он скажет. И он сказал:

— Еще одна такая стычка — и нам конец.

Он натужно сглотнул, будто хотел проглотить злобу, а то как бы не задушила.

— Я что, не вижу, что ваш отец не вернулся?! — заорал он на них. — Потерпите! Пока что придется

потерпеть! Разыщем его после!

На той стороне грохнул одинокий выстрел, и сразу же с того склона взметнулась в воздух и закружила над оврагом стая зуйков. Две-три птицы долетели до наших камней, но заметили нас и испуганно шарахнулись назад — только вспыхнуло на солнце разноцветное оперение. На той стороне они с криками опустились на ветви деревьев и долго не могли успокоиться.

Оба Хосе тоже вернулись на свое прежнее место и молча присели на корточки за камнями.

Мы пробыли там до вечера. А когда стемнело, появился Чиуила и с

ним один из «Четверки». Они рассказали, что весь день прятались за коленом оврага, у Гладкого камня. Ушли федералисты или нет — этого они не смогли выяснить. Но кругом стояла тишина. Только издали по временам долетал вой койотов.

— Ну-ка, Голубок, — повернулся ко мне Педро Самора. — У меня к тебе дело. Пойдешь сейчас с обоими Хосе к Гладкому камню. Постарайтесь разведать, что там приключилось с Сукой. Если убили — похороните. То же и насчет остальных. Раненых не выносить, а кого найдете, положите повыше, чтобы федералисты заметили.

— Будет сделано.

И мы отправились.

Скоро мы были уже у загона, где оставили лошадей. Вой койотов слышался теперь много ближе. Лошади наши пропали. По загону бродил только дряхлый осел, которого мы там обнаружили, когда впервые пришли в эти места. Лошадей, судя по всему, увели федералисты.

Неподалеку в кустарнике мы наткнулись на тела троих из «Четверки». Они лежали друг на друге, словно их нарочно сложили штабелем. Мы заглянули каждому в лицо, потрясли за подбородок. Но никто не подавал признаков жизни. Все трое были мертвы. В ручье, куда

мы водили коней на водопой, лежал еще один наш товарищ. Из рассеченной груди торчали наружу ребра. Видно, его зарубили саблями. Мы сверху донизу обыскали весь склон по обе стороны стены. Здесь и там валялись трупы наших. Почти у всех лица были черны от пороха.

— Их добивали раненых, — сказал один из братьев Хосе.

Теперь мы искали уже только Суку, и больше никого. Только Суку, как нам было приказано.

Но мы его не нашли.

«Увели с собой, — мелькнула у нас догадка. — Увели, чтобы передать властям». И все-таки мы продолжали искать, обшаривали

каждый кустик. Сейчас койоты были совсем рядом.

Они были всю ночь.

Вторая встреча с Петронило Флоресом произошла несколько дней спустя, у переправы через реку Армериа. Мы повернули назад, как только их заметили. Но было поздно. Мы хотели избежать стычки, вот и вышло, что они нас попросту расстреливали. Впереди галопом на своем ладном жеребце — в жизни не видел я лучшей лошади! — скакал Педро Самора. А за ним, припав к лошадиным гривам, — мы, в беспорядке, кучей. Да, устроили они нам кровавую баню. Правда,

рассуждать мне об этом в ту минуту было некогда: я очутился в реке, под брюхом у своего убитого коня, и чуть не захлебнулся.

Нас понесло с ним вниз по течению и, слава Богу, прибило к берегу далеко от места переправы, в мелкой, выстланной песком заводи.

Так кончилась наша вторая, последняя стычка с солдатами Петронило Флореса. После этого мы больше не брались за карабины. По правде говоря, мы уже давно всерьез не воевали; мы избегали боев, старались лишь об одном: унести ноги. Под конец нас осталось раз-два и обчелся, и мы решили, спасения ради, уйти в горы. А чтобы

пробраться незаметней, разбились на группы, по несколько человек в каждой. Теперь мы никому больше не были страшны. И, завидя нас, никто уже не бежал с криком: «Идет отряд Педро Саморы!»

На Великой равнине опять стало тихо.

Но не надолго.

Месяцев восемь мы укрывались в верховье каньона Тосин, в том месте, где река Армериа ныряет в ущелье, чтобы через много часов вырваться снова на белый свет, к океану. Мы рассчитывали прожить там года три-четыре, а может и больше, хотели дать людям время

забыть про нас. Мы начали разводить кур; изредка отправлялись в горы подстрелить оленя. Нас было пятеро, вернее сказать, даже четверо: когда на переправе под градом пуль мы показали спину федералистам, одного из братьев Хосе ранило в бедро, пониже ягодицы, рана загноила, и он обезножел.

Мы прятались в своем тайнике, и нас грызла тоска, что мы выброшены из жизни. Когда бы не уверенность, что нас всех перевешают, мы бы давно явились к властям и сдали оружие.

Но тут к нам приехал Армансио Алкала, связной Педро Саморы; он развозил его письма, выполнял и

другие поручения.

Как-то перед рассветом мы свеживали корову. Вдруг, слышим, рожок. Далеко, со стороны равнины. Немного погодя — опять. Рожок этот чем-то напоминал рев боевого быка: сперва брал высоко, переходил хрипло вниз и снова забирал кверху. Эхо усиливало звук и доносило до нас, а потом он замирал, тонул в ропоте реки.

А перед самым восходом солнца впереди между стволами болотных кипарисов замелькала фигура человека на коне. Это ехал Алкала. Его грудь перекрещивали две ленты с патронами, сзади, поперек лошадиного крупа, была приторочена

на манер чемодана связка винтовок.

Алкала спешился. Роздал нам карабины, а те, что у него остались, опять связал вместе и приторочил сзади к седлу.

— Если у вас нет на ближайшие дни никаких неотложных дел, снаряжайтесь в дорогу. Завтра отправимся в Сан-Буэнавентуру. Там вас ждет Педро Самора. А пока прощайте. Мне еще надо спуститься вниз, за братьями Санате. Я вернусь.

Вернулся он на другой день к вечеру. И не один, а, как обещал, с братьями Санате. Уж темнело, но мы еще издали узнали их по сухощавым медно-красным лицам. С ними были еще три каких-то незнакомых нам

парня.

— Лошадей раздобудем в пути, — сказал Алкала. И мы двинулись вслед за ними.

Еще задолго до того, как показалась вдали Сан-Буэнавентура, мы увидели пылающие поместья. Веселей всего горели амбары с зерном — они полыхали, как разлитые бочки скипидара; в ночное небо взвивались вихри пламени и огненных искр, взметывались клубы багрового дыма.

А мы шли вперед, и зарево над Сан-Буэнавентурой освещало нам дорогу; оно манило, звало, торопило нас, нам не терпелось дойти — и сравнять с землей все, что еще не

успел истребить огонь.

Ближе к городу мы повстречали первых верховых. Они ехали рысью, и за каждым, на аркане, продетом в кольцо на передней луке седла, волочился привязанный за ноги человек. Кто-то из этих людей еще перебирал по земле руками, пытаясь удержать на весу голову и грудь. У других руки бессильно бились оземь, а голова моталась из стороны в сторону.

Мы стояли и смотрели. Когда они проехали, показался большой конный отряд. Впереди, верхом на своем жеребце, ехал Педро Самора. Столько людей у нас еще ни разу не бывало. Сердце радовалось, на них

глядя.

Да и как было не радоваться. По Великой равнине снова скакала боевая наша конница, совсем как когда-то. Совсем как вначале, в добрые времена, когда мы поднялись с нашей земли, словно зрелые початки маиса, с которых ветер сорвал пожухлые рыльца и засохшие листья. Вся равнина трепетала в страхе перед нами! Да, было такое времечко. И верилось, оно возвращается!

Из Сан-Буэнавентуры мы двинулись на Сан-Педро, сожгли его и повернули на Петакаль. Наступила пора уборки маиса, стебли стояли

уже сухие, и когда налетал ветер — он любит в это время погулять над равнинным простором, — они даже ломались от сухости. Поднесешь огоньку к краю поля — и пошло полыхать; так и скачет огонь по заповедной помещичьей земле, — поглядеть любо-дорого! Вся Равнина — сплошной костер, а сверху над ней волнами колыхается дым. Пахучий, медовый — потому что пожары перекинулись уже и на камышовые заросли, и на сахарный тростник.

А из дыма выскакиваем мы, чумазые, как черти, забираем скот и гоним его со всех сторон в одно место, чтобы без помехи забить и содрать шкуры. Теперь мы этим

промышляли — шкурами.

Педро Самора сказал: «Нашей революции нужны деньги. И мы возьмем эти деньги у богачей. Мы кровь проливаем, пускай же оружие и все прочее, что необходимо для нашей с вами революции, оплачивают богачи. Не важно, что мы покамест сражаемся просто так, ни под каким знаменем. У нас сейчас одна задача: себя не жалеть, но выручить побольше денег. Пусть тогда приходят федералисты! Они увидят, какая у нас сила!» Так он нам говорил.

Но когда пришли федералисты, они опять взяли над нами верх: они снова побеждали и убивали нас, хотя

и не с прежней легкостью. Теперь издали было видно, что они нас боятся.

Но и мы их боялись. Бывало, донесет ветерок щелканье ихних затворов или заслышишь, сидя в засаде, цокот кавалерийских подков по каменистой дороге, все ближе, ближе — так и провалится душа в пятки.

И у нас, у каждого, это было написано на лице. Проезжают они, а нам так и чудится: косят в нашу сторону глазами, будто хотят сказать: «Мы знаем, что вы тут сидите, только до поры до времени виду не подаем».

Похоже, что так оно и бывало,

потому что едут они, едут, и вдруг ни с того ни с сего — прыг с коней, поставят их кругом, спрячутся, как за бруствером, и отстреливаются, пока выручка не подоспеет. А выручка какая? Зайдут нам с тыла, окружают незаметно и — готово: перебьют, как кур в курятнике. Мы скоро поняли, что хоть самих-то нас много, да не на много времени хватит нашего множества.

Потому что теперь приходилось иметь дело не с войсками генерала Урбано — их послали против нас в самом начале, и они разбегались от одного нашего крика, от одного вида наших взлетающих шляп; да чего и было ждать от новобранцев,

насильно оторванных от своих ранчо и против воли посланных воевать с нами; они нападали, лишь когда видели, что нас во много раз меньше, чем их. Те времена давно кончились. На смену новобранцам Урбано пришли обстрелянные солдаты. Но хуже всех были теперешние. Командовал ими некий Олачёа. Народ у него был стойкий, рискованный: частью горцы из далекого Теокальтиче, частью длинноволосые индейцы тепеуаны, они, если надо, могут не есть по нескольку дней, могут сколько угодно часов просидеть не шелохнувшись в засаде — уставятся немигающими глазами в одну точку и ждут; попробуй

высунься из укрытия: один меткий выстрел — и нет человека. Карабины у них были крупнокалиберные, с длинными пулями — для такой перебить человеку хребет все равно, что продырявить трухлявый сучок.

Что и говорить — устраивать засады против федералистов было куда трудней, чем нападать на одинокие поместья. И мы стали действовать вразброс, мелкими отрядами, атаковали врага неожиданно то здесь, то там. Никогда еще мы не причиняли неприятелю большого урона. Налетим врасплох, да и были таковы, вроде одичавших мулов, они ведь тоже: лягнут на бегу копытами — и

далее.

Скажем, часть людей разоряет и поджигает богатые ранчо на склоне вулкана в Хасмине, а тем временем в другом месте другой отряд наносит внезапный удар по войскам. А чтобы думали, много нас, привяжем каждый к веревке ветку акации, чтоб дорогу мела, и летим в туче пыли, с гиком, со свистом, с воплями.

Когда мы нападали на поместья, федералисты не сразу в дело вмешивались, выжидали. Но все-таки гонялись за нами, метались по Равнине из конца в конец, как ошалелые, и все без толку: придут, а нас и след простыл. Иллюминацию мы в горах устраивали такую —

отсюда бывало видно. Смотришь на пожарище и думаешь: никак лесосеки горят! День и ночь полыхали усадьбы и ранчо, а случалось, и большие селения: Тусамильпа, Сопотитлан. Да, отсюда видно бывало. Ночью светло, как днем. Солдаты Олачеа заметят огонь и мчатся во весь опор к месту происшествия, но только доскачут — в другом конце занялось, горит Тотолимиспа, как раз в той стороне, откуда они прискакали.

Глядишь — и сердце не нарадуется. Солдаты покрутятся, покрутятся, туда-сюда, да и уберутся восвояси. А мы выезжаем из непролазных зарослей мескита и

смотрим, как они, несолоно хлебавши, тянутся по пустынной дороге, и рады бы померяться силой с врагом — да врага-то перед ними никакого нет, — а вокруг, огороженная со всех сторон горами, раскинулась подковой во всю свою ширь Равнина, и военный отряд тонет в ней, как в бездонной морской глубине.

Мы сожгли дотла Куастекомате и устроили там игру в «бой быков». Педро Самора любил эту забаву до страсти.

Федералисты в это время гнали коней на Аутлан: рассчитывали застигнуть бандитов, нас то есть,

прямо в логове, в местечке под названием Ла-Пурификасьон. А мы оттуда как раз только что снялись. Они махнули туда, а в Куастекомате пришли на их место мы.

Тут славный можно было устроить «бой быков». Федералисты впопыхах позабыли в Куастекомате восемь своих солдат, не считая старшего и младшего интендантов.

Арену мы соорудили честь честью, поставили круговую ограду, вроде загона для коз, сами сели на перекладинах, чтобы нашим тореро, чего доброго, не улизнуть. А то погонится Педро Самора за ним со стилетом, чтобы проткнуть, как бык рогами, а тореро наш — наутек,

такого драпу задаст, только держись.

Но солдатиков было всего-навсего восемь штук, и хватило их на один только вечер. Интендантов Педро оставил на завтра. Ох, и задал же ему работенку второй интендант, капрал. Тощий был, долговязый, жердина жердиной, попробуй в него попади, подастся чуток в сторону, стилет — мимо. Зато старший не успел в круг войти — и готов. Да и где ему было, такому неповоротливому — приземистый он, плотный. Хоть бы раз увернулся, нет, не сумел, как вышел, так встал на месте и стоит, будто только и ждет, чтобы в него клинок всадили. И умер тихо, без крика. А вот капрал —

тот да, задал работенки.

Педро Самора велел при выходе в круг выдать каждому по чепраку — для защиты. Но одному только капралу послужило оно в пользу. Здорово он им управлялся, — а это надо уметь, чепрак-то тяжелый, толстый. Взял он его в руки и стал отбивать удары. Педро вокруг прыгает, клинок нацеливает, а капрал мах чепраком, стилет и скользнет в сторону. Умаялся наш Педро, кругом да около бегая, а достать ни в какую, так только, оцарапал слегка. Вот и не хватило у него выдержки. Бык никогда с тыла не подкрадется или со стороны, бросается на врага грудью, спереди. А Педро вдруг забежал

сбоку, левой рукой за чепрак, а правой — стилет под ребра. Капрал сгоряча боли, верно, не почувствовал, невдомек, что крышка ему, знай чепраком машет, вверх-вниз, вверх-вниз, словно осиный рой от себя отгоняет. Потом видит, течет у него по боку, будто красной лентой всего опоясало. Остановился, на лице — страх, пальцами рану зажимает. Да где там, ручьем из нее бежит, и чем оно алей, тем сам он белей становится. Упал посредине круга и смотрит на нас, каждому в глаза. Полежал, полежал, а потом взяли мы его и повесили, а то когда бы еще он умер.

С тех пор Педро Самора

частенько играл в «бой быков», не упускал ни одного случая.

В то время у Педро в отряде все, начиная с него самого, «понизовые» были, с Равнины. Потом прибилося к нам немало и пришлого люда: белокурые, с молочно-белыми лицами, длинноногие индейцы из Сакоалько. И горцы с «холодной земли», — кажется, из Масамитлы. Какая бы ни была жара, они кутались в свои сарапе, [\[7\]](#) словно идет дождь со снегом.

Зато от жары у них пропал аппетит, и Педро послал их высоко в горы, охранять проход между вулканами, там кругом один песок да голые выветренные скалы. А белые

индейцы прямо-таки влюбились в Педро Самору, ни на шаг от него, скажи он слово — готовы в огонь и в воду. В бою держались всегда рядом с ним, прикрывали его: где он, там и они. До того доходило, что, бывало, вступим в город или деревню, так они выкрадут девушек, которые покрасивее, и чтобы себе взять — ни-ни: отдадут ему.

Навсегда запомнилось мне это время. Пробираемся мы ночью по горной тропе, едем осторожно, тихо — ни стука, ни бряка, а сами чуть с седел не падаем — сон разбирает; но привала сделать нельзя — по пятам за нами идут федералисты. И вот как сейчас вижу Педро Самору,

проезжает он в малиновом своем плаще вдоль колонны, смотрит, чтобы никто не отстал.

— Ну-ка, Питасио! Пришпорь своего каурого! Э, да вы, Ресендис, никак задремали? Просыпайтесь, просыпайтесь, мне с вами побеседовать надо!

Да, он обо всех нас заботился. Ночь, темнота кругом, глаза так и слипаются — уж не думаешь об опасности, только бы уснуть. А он подъедет, заговорит с тобой — он нас всех в лицо знал, по имени, — смотришь, и расшевелил, подбодрил. Чувствуешь на себе его взгляд, и спокоен: Педро Самора не задремлет. Глаза у него зоркие: какая бы ночь

темная ни была, он все видит и каждого сразу узнает. Едет и пересчитывает нас, словно скупец свое золото. Потом поворотит коня и поедет рядом. А мы слышим, как ступает его конь, и уверены: Педро Самора начеку, чуть что не так, он заметит. Потому и шли за ним, ни слова не говоря, не жалуясь на холод и недосып. Как слепые за поводырем.

Но только загубили мы все дело тем, что под Сайулой пустили под откос поезд. Не этот бы поезд проклятый, может, еще и сейчас были бы живы и сам Педро Самора, и Ариас-Китаец, и Чиуила, да и все

наши, и, может, мы, повстанцы, еще одержали бы верх. Но уж больно насолил им Педро этим поездом, никак не могли они простить, что он поставил им такой фитилек.

Убитых во время крушения потом в кучи складывали и сжигали. Пламя высокое — под самое небо, так издали и сверкает — вовек не забыть. Мертвецов скатывали с насыпи, как стволы-кругляки, подгребали лопатами в кучу, потом — керосину, и поджигали. А дым разносило по ветру во все стороны. Сколько дней после прошло, но все в воздухе горелой мертвечиной смердело.

А почему так вышло? Мы ведь и

не знали толком-то, что из этого получится. Просто взяли и рассыпали на рельсах коровьи рога и кости — порядочный кусок полотна обработали этим манером. А чтобы уж наверняка — путь на повороте разобрали. Сделали свое дело и стали ждать.

Час был ранний, но уж начинало развидняться. Смотрим, идет поезд. На крышах народу полным-полно. Кто-то песни поет. Мужские голоса, женские. Застучали вагоны мимо нас, и хоть сумерки еще не разошлись, мы разглядели: едут солдаты с девками своими. Сидим, ждем. Поезд идет не шибко, но не останавливается. Захоти мы тогда,

могли бы их всех перестрелять — паровоз еле тащился, даже отдувался с натуги, словно бы думал: одним пыхтением уклон одолеет. В другое время так и побеседовать можно бы. Но только вышло все иначе.

Они смекнули, в чем дело, когда поздно было. Вагоны вдруг зашатались, подпрыгнули и выгнулись дугой, будто их кто вверх поднял. Паровоз подался назад, но уже не по рельсам, а прямо по насыпи: вагоны его за собой под гору потянули — тяжелые они, народу-то в них битком, а он гудит, хрипло, протяжно, и такой гудок у него тоскливый. Но никто на помощь к нему не подоспел. А вагоны все

назад, назад катятся — поезд-то длинный, хвоста не видать — и тащат паровоз за собой. Вдруг смотрим, колеса у него с насыпи соскочили, накренился он, повалился набок — и под откос. И вагоны за ним: первый, второй — так друг за дружкой и посыпались. Мы и моргнуть не успели. Очнулись — тихо кругом, ни звука, будто не то что их, но и всех нас вместе с ними поубивало.

Вот как оно обернулось.

А когда те, что в живых остались, начали выбираться из-под обломков, мы тягу дали — жуть нас взяла, да такая: руки-ноги трясутся.

Сколько-то дней отсиживались в

надежном месте. Но федералисты добрались до нашего укрытия и с этого дня уже не давали нам передышки. Мяса копченого кусок всухомятку, и тот, бывало, в рот не положишь. Сна нас лишили. Ни поесть, ни поспать, днем ли, ночью ли — не было нам от них ни покоя, ни отдыха. Думали: доберемся до каньона Тосин — там передохнем. Не вышло. Они раньше нас туда прибыли: обогнали. Тогда мы двинулись в обход вулкана и ушли высоко в горы. Но и там нас поджидали федералисты. На Божьей тропе, так это место называется. Устроили они нам встречу. Еще немного, все бы мы там остались. Ох,

и жажнули. Огонь — шквальный, пули так и свистят, даже воздух от них горячий сделался, ей-богу. Мы за камнями залегли, так эти камни, один за другим, будто комья сухой земли, рассыпались. Потом только мы узнали, что у них не карабины — пулеметы были, и что пулемету тебя изрешетить — минутное дело. Но мы тогда про пулемет слыхом не слыхали, думали: армию целую против нас выставили, тысячи солдат. И уж никакой другой мысли у нас не было, кроме как бежать, бежать без оглядки.

Убежали — кому посчастливилось. А вот Чиуиле не повезло. Он укрылся от огня за

тутовым деревом, привалился к нему, да так и остался. Накидка на плечах обвернута концом вокруг шеи, словно он хочет согреться. Сидит и смотрит мертвыми глазами, как мы поодиночке расходимся, смерть нашу на части между собой делим. И зубы его, кровью залитые, оскалены, будто он над нами смеется.

Разошлись мы оттуда кто куда.

Многих это спасло. А кое для кого кончилось худо. Не было такой дороги, где бы не привелось нам увидеть кого-нибудь из наших на телеграфном столбе. За ноги их вешали. И никто их потом не снимал: висели, пока сами с веревки не оборвутся. Стервятники

выклевывали у них внутренности и мясо, одна скорлупа оставалась: ссохшаяся, заскорузлая кожа. Вешали высоко — не дотянуться, вот они и висели неделями, а то и месяцами, раскачивались на ветру. Иной раз смотришь, и вовсе уж ничего не осталось от человека, только штаны, зацепленные за штанины, полощутся, словно бы кто их там после стирки сушить повесил. Поглядишь, бывало, и подумаешь: видно, и впрямь конец нам пришел.

А кому и повезло — добрались до Большой горы, проскользнули ползком, как змеи. Сидим там наверху и смотрим вниз, на Равнину, на милую нашу землю, где мы

родились и жили и где теперь поджидают нас, чтобы убить. Страх на нас напал: другой раз, бывало, тени от облака испугаешься.

Наша бы воля, мы бы со всей охотой вниз спустились, заявили кому следует, что мы замирения хотим, будем тише воды ниже травы, пусть только нас не трогают. Но слишком уж много мы понатворили такого, чего бы не след, да и понатворили-то не в одном месте, и тут врагов себе нажили, и там. Разве теперь нам поверят? Даже с индейцами горскими пошли у нас нелады — зачем скотину да птицу у них отбираем. Власти их сразу оружием против нас снабжать стали.

Они и послали нам передать, чтоб больше мы к ним не совались — перебьют всех до одного.

«Мы их не желаем видеть. А увидим — живыми не уйдут», — так и сказали.

И не осталось нам на всей земле места. Не только чтобы голову приклонить, но даже и помереть, потому что и для могилы клочок земли нужен. И мы решили, последние, кто вместе держался, совсем разойтись, поодиночке и в разные стороны.

* * *

Почти целых пять лет сражался я бок о бок с Педро Саморой. Бывало и худо, бывало и хорошо, день на день не приходится, огляделся — пять лет пробежало. Но с тех пор, как мы разошлись, не довелось больше с ним встретиться. Был слух, будто поехал он в Мехико за какой-то бабенкой и там его убили. А мы тут, я и, кроме меня, многие, все ждали, может, еще он вернется, придет день, и опять поднимет нас Педро Самора на бой с оружием в руках. Но потом устали мы ждать. Он не вернулся. Убили они его там. Рассказал мне про это, что убили его, один человек, который сидел со мною в тюрьме.

Из тюрьмы я вышел три года

назад. Срок мне дали не за одну вину — сразу за несколько. Но не за то, что я был в отряде у Педро Саморы, — про это они не пронюхали. Посадили за другое разное, главное, за то, что взял я плохую привычку — увозить девушек. Из этих вот девушек одна сейчас со мной и живет, и сдается мне, нет на всей земле женщины добрей и лучше ее. Вышел я из тюрьмы, а она за воротами стоит, ждет, когда меня выпустят. Не знаю уж, сколько она там простояла.

«Голубок, я тебя дожидаюсь, говорит. Я тебя тут уж давно жду».

Звякнет меня сейчас, думаю, для того и подкараулила. Вспомнилось

мне — будто сквозь сон, — кто она такая, и словно бы дождь холодный побежал по спине, как в ту грозовую ночь, когда мы ворвались в Телькампану. Камня на камне мы там не оставили, дотла разорили городишко. И я почти наверное знал, что это ее отца, старика, ухлопали наши ребята перед самым уже выездом. Я дочку схватил — и к себе, поперек седла, а он кричать, ну кто-то и разрядил карабин ему в голову. Стукнул я ее разок-другой, чтобы оглушить, а то из рук рвется, кусается. Затихла. Молоденькая она была, совсем девчонка, лет четырнадцати, не больше. Ух, и глазищи же у нее были! Дала она мне

жизни. Никак не сладить! Ничего, обьездил, смирная стала.

— Сына вот тебе вырастила, — говорит она мне. — Вон стоит.

И показывает пальцем на долговязого парнишку. А он застеснялся, потупился.

— Сними шляпу, сынок, пусть отец на тебя посмотрит!

Снял парнишка шляпу. Вылитый я, и глаза с хитрецей. Опять же ни от кого, как от меня.

— Его тоже Голубком прозвали, — говорит она мне, жена моя теперешняя. — Но он не бандит, не убийца. Он самостоятельный.

Я только голову опустил.

Скажи, чтобы они не убивали меня!

— Скажи им, Хустино! Скажи, чтобы не убивали меня. Иди, иди же, скажи им. Пусть сжалятся, Христа ради. Так и скажи. Скажи, пусть, Христа ради, сжалятся. — Не могу я. Сержант про тебя и слушать не хочет.

— А ты подход найди, чтобы выслушал. Хитростью или как. Скажи, постращали, мол, и хватит, одного страха довольно. Христом Богом моли, пусть помилуют.

— Они это не для страха. Они, сдается мне, и вправду тебя в расход пустить надумали. Не пойду я к ним

больше.

— Ну что тебе стоит, сходи еще раз. Один только раз, может, и добьешься.

— Нет, неохота мне. Я ведь кто? Сын твой. Начну им надоедать, о тебе кланчить, дознаются, кто я такой, и меня заодно к стенке — с них станется. Пускай уж идет как идет.

— Пойди к ним, Хустино. Скажи, поимейте жалость к старику. Сжальтесь, — больше ничего и не проси.

Хустино стиснул зубы и отрицательно покачал головой.

— Не пойду.

Он еще долго стоял и мотал

головой.

— Попроси сержанта, чтобы к полковнику тебя пропустил. Скажи полковнику, что старый я, совсем старик. Кому от старика вред? На что им меня убивать? Какая корысть? Никакой нет им корысти убивать меня. Есть же душа в нем? Проси, пусть во спасение своей души помилует.

Хустино поднялся с груды камней, на которой сидел, и направился к выходу с заднего двора. Не дойдя до ворот, он обернулся.

— Пойду, так и быть, — проговорил он. — Только вот если они сдуру и меня расстреляют, кто тогда позаботится о моей жене и

детях?

— Положись на промысел Божий, Хустино. Господь их не оставит. Ты сейчас не об них думай, а как к полковнику попасть и меня выручить. Время-то идет.

Они привели его сюда задолго до рассвета. Сейчас уже было утро, а он по-прежнему стоял, привязанный к столбу, и ждал. Его не покидали тревога и страх. Он попытался вздремнуть, чтобы хоть немного успокоиться, но сна не было. Чувства голода тоже не было. Не было никаких желаний, только одно — жить. Теперь, когда он наверняка знал, что его убьют, в нем вспыхнула такая жажда жизни, какую, вероятно,

мог бы испытать лишь восставший из мертвых.

Кто же думал, что вдруг опять всплывет то стародавнее, быльем поросшее дело? Он был уверен, что оно давно похоронено и забыто. Это, конечно, — дон Лупе он тогда убил. Так уж пришлось. В Алиме потом говорили, будто он его безо всякой причины, ни за что. Неправда — было за что. Он это хорошо помнит.

Дон Лупе Террерос, хозяин поместья Пуэрта-де-Пьедра, приходился ему, Хувенсио Наве, вроде бы куманьком. Из-за этого-то все и вышло, из-за этого он, Хувенсио Нава, его и порешил. За то, что дон Лупе, хозяин Пуэрта-де-Пьедры, да к

тому еще и его, Хувенсио, кум, запретил ему гонять скот на свои пастбища.

Поначалу Хувенсио стерпел — худой мир лучше доброй ссоры. А тут возьми да и ударь засуха. У Хувенсио одна корова от бескормицы пала, другая, третья, и овцы, и свиньи, а дон Лупе, куманек любезный, и в ус не дует — не сметь на его пустоши скотину гонять. Тогда Хувенсио разломал изгородь и погнал свое стадо — от ветра скотина шаталась — на запретный лужок, пускай уж до отвала наестся. Дону Лупе это не по нраву пришлось. Велел пролом заделать, чтобы ему, Хувенсио Наве, не повадно было на чужое добро

зариться. И пошло. Днем батраки пролом заделают, а Хувенсио ночью опять их работенку похерит. И пока стадо пасется, сам от ограды ни на шаг, караулит скотину, а то ведь извелась бедная: око видит, да зуб неймет.

Началась у них с доном Лупе распря. Дон Лупе свое, а Хувенсио опять же свое, никак не поладят. Дон Лупе и скажи ему:

— Слушай, Хувенсио, первую же твою корову, какую ты ко мне на пастбище выгонишь, пристрелю.

А он ему ответил:

— Сами посудите, дон Лупе, моя ли в том вина, что скотина ищет, где ей поспособнее. Она что,

невинная тварь Божья. Убить-то ее не мудрено, да как бы вам самому после не пожалеть.

...И убил он у меня бычка.

В марте это случилось, тридцать пять годков тому. В марте — это я точно помню, в апреле-то я уж в горах скрывался; бежал из-под суда. Десять коров я судье дал — взяткой, да еще все мое домашнее имущество описали в счет залога, чтобы мне до суда на волю выйти. А что осталось, опять же им в руки сунул, только бы замяли дело. Ничего не помогло. Оставили меня под судом. Пришлось к сыну на житье перебраться: у меня еще земляца имелась, в другой

стороне, Пало-де-Венадо место это называется. Сын мой в возраст вошел и женился — невестку Игнасией звать, — восемь человек детей у них народилось. Так что было-то оно вон когда, можно бы и забыть по давности. Ан нет, выходит, не забыли.

Я по тогдашнему моему разумению посчитал, что дам им сотню песо — и вся недолга. Дон Лупе человек был вроде одинокий; жена только да мальцов двое, ползунков. И вдова вскорости тоже померла, говорили, будто бы с горя. А малых куда-то далеко увезли, к сродственникам. Так что тут мне бояться было нечего, то есть с ихней

стороны.

Зато уж остальные поживились на мне, чем только могли. Знали, что под судом я и что дело мое судейские крючки все мусолят, вот и держали в страхе. Придет, бывало, кто в деревню, сразу ко мне бегут:

— Слышь, Хувенсио, опять там каких-то из города принесло.

Подхвачусь — и в лес. По нескольку дней в зарослях тутовых прятался, одним портулаком сыт был. Иной раз, бывало, посреди ночи поднимут, и бежишь, будто ты зверь дикий и за тобой свора собак гонится. Вся жизнь так прошла. Не год, не два. Вся жизнь...

А взяли его теперь. Взяли

нежданно-негаданно, когда он уже поверил, что люди про все забыли, когда стал надеяться, что хоть последние свои дни проживет спокойно. «Одна выгода быть стариком, — думалось ему, — никто меня больше не тронет».

И до того тешила его эта надежда, что казалось ему непредставимо, как это, дожив до старости лет, всю свою жизнь убив на то, чтобы не данься смерти, как же вдруг он лишится теперь этой жизни ни за что ни про что, лишится после того, как все лучшие свои годы мотался с места на место, подгоняемый вечным страхом, а тело его с тех трудных дней высохло так,

что остались лишь кожа да кости. Легко ли прятаться всю жизнь от каждого встречного.

Да что говорить! Жена его бросила — он и это стерпел: в то утро, когда узнал он про свою беду, про то, что жена сбежала, у него и мысли не мелькнуло ее разыскивать. Не стал даже разузнавать, куда, с кем, почему: боялся в деревню спуститься. Так ничего и не сделал, чтобы вернуть жену. Дал ей уйти, как дал разграбить все свое добро. Одна только и осталась у него забота — о сохранении своей жизни. И он постарается сберечь свою жизнь во что бы то ни стало. Он не даст убить себя. Не даст. Теперь-то уж и

подавно.

Но они привели его сюда из Пало-де-Венадо как раз для того, чтобы убить. Им не понадобилось вязать ему рук, тащить насильно. Он шел сам — его по рукам и ногам связал страх. Они видели, что он не убежит, — слишком изможденным было старое тело, слишком плохо держали его худые, как палки, иссохшие ноги, подгибавшиеся от страха смерти. Да, потому что его вели на смерть. Его убьют. Они ему это сказали.

И с той самой минуты сосет, тоскует у него в нутре, — так оно бывало всегда, когда смерть заглядывала ему в лицо. И в глазах у

него стоит смертная тревога, а во рту сбегаются слюна, горькая, пакостная, и он, сам того не замечая, все время сглатывает ее. И еще ноги. Они вдруг словно свинцом налились, а голова перестала держаться, упала на грудь, и сердце стучит в ребра, будто хочет выскочить. Нет, не верится ему, не верится, что его убьют.

Надеяться надо. Не может этого быть, чтобы совсем никакой надежды не осталось. Могла и ошибка выйти. Не его, поди, одного на свете зовут Хувенсио Нава. Есть где-нибудь еще один. Вот они того, другого Хувенсио Наву и разыскивают. Не его, стало быть.

...Он молча шел между солдатами. Руки его повисли плетьюми. Ночь была ненастная, без звезд. Ветер неторопливо подымал с полей пересохшую землю и перемешивал с дорожной пылью, пахнувшей каким-то своим, особым запахом. Мочи, что ли?

Несмотря на темноту, глаза его, дальнзоркие от старости, хорошо различали дорогу, каждый комок земли на ней. В этой земле и была вся его жизнь. Шестьдесят лет он на ней прожил, топтал ее ногами, разминал в пальцах, нюхал, как хозяйка нюхает на рынке кусок мяса. Он шел и крошил ее глазами, как прежде крошил на ладони, с

наслаждением вдыхая запах каждого ее комочка, словно это был последний комочек земли в его жизни. Да он почти и был уверен, что это последний.

Потом он поднял голову и посмотрел на шагавших по бокам от него людей, словно собираясь о чем-то их попросить. Он хотел попросить их, чтобы они отпустили его на волю, дали ему уйти: «Я никому не сделал ничего худого, ребята», — хотел он им сказать, но почему-то не сказал. «Пройдем еще маленько, тогда», — подумал он. И лишь посмотрел на них. Он мог бы представить себе, что идет с ними просто так, что это его друзья. Однако он не стал себе

представлять, что они его друзья. Это были его недруги, но только он не знал, кто они и откуда. Они шли рядом с ним, время от времени нагибаясь или отходя в сторону, чтобы разглядеть дорогу.

Увидел он их еще вчера вечером, в сумерки, когда все вокруг становится серым, словно припорошено золой. Они шагали прямо по полю, топча молодую маисовую зелень. Для того он и вышел им навстречу: сказать, что тут не трава, а маисовое поле. Но они даже не остановились.

Так что увидел он их вовремя. Ему всю жизнь везло: он всегда успевал все увидеть вовремя. Он

вполне мог скрыться, уйти на ночь в горы и вернуться назад, когда они уберались бы восвояси. А маис в этом году все равно пропадет. Давно пора бы дождям быть, а на небе ни облачка, кое-где всходы уже прихватило сушью, скоро все поле сгорит.

Так что незачем было и навстречу им выходить, бояться, что потопчут поле. Попал как в мышеловку, поди теперь вырвись.

Он плелся, охраняемый солдатами, подавляя в себе желание попросить их, чтобы они его отпустили. Он не видел их лиц, одни только темные фигуры, которые то приближались, то отдалялись от

него. И когда он наконец заговорил, у него не было уверенности, что эти люди его слышат.

— Я никогда никому не сделал ничего худого, — сказал он им.

Но от его слов не произошло никакой перемены. Темные фигуры скорей всего даже не заметили, что он к ним обращается. Ни один из них не повернул к нему головы. Они шагали бесчувственные, как во сне.

Тогда он понял, что сказать ему больше нечего, и надо поискать, нет ли какой-нибудь другой надежды на спасение. Руки его снова повисли плетьюми; так он и вошел в город, и потащился мимо первых домов, а впереди, сзади и по бокам шагали

четыре смутные человеческие фигуры, казавшиеся почти черными от черноты ночи.

— Господин полковник, мы привели того человека.

Они остановились у порога, не входя в дом. Он почтительно держал шляпу в руках, ожидая, что к ним сейчас выйдут. Но никто не вышел.

— Какого человека? — спросил голос изнутри дома.

— Того, из Пало-де-Венадо, господин полковник. Которого вы приказали привести.

— Узнай у него, жил он когда-то в Аlime или нет, — продолжал голос.

— Эй ты! Полковник спрашивает, жил ли ты прежде в Алиме? — повторил стоявший напротив него сержант.

— Да, жил. Скажи полковнику, что я и родом из Алимы. Жил там до недавнего времени.

— Спроси у него, знал ли он в Алиме Гуадалупе Террероса.

— Спрашивают, знал ли ты Гуадалупе Террероса.

— Дона Лупе? Конечно. Передай, что я его знал. Он давно умер.

Голос внутри дома вдруг переменялся.

— Это мне известно, что он умер. Гуадалупе Террерос — мой

отец, — продолжал он, будто обращаясь к кому-то, кто сидел там внутри, за тростниковой стеной. — Когда я подрос и стал спрашивать про отца, мне сказали, что он был убит. Нелегко это — знать, что твой отец, тот, кто был бы тебе, ребенку, поддержкой, помог бы стать на ноги, — давно в могиле. А у нас с братом как раз так и вышло.

Позже мне стало известно и другое: отца зарубили тесаком, да еще для верности всадили в живот бычий рог. Мне рассказали, что люди не могли отыскать его двое суток и нашли лежащим в ручье, — видно, его туда сволокли нарочно. Он был еще жив, при последнем издыхании,

и все просил, чтобы позаботились о его семье.

Говорят, со временем все забывается. Сам стараешься позабыть, не думать. Но стоит тебе услышать, что человек, совершивший такое, — жив и еще питает в своей грязной душонке надежду на вечное блаженство, — и нет больше забвения. Я не знаю этого человека и никогда не видел его — знаю только, что простить его не в моих силах. И раз я в самом деле разыскал его там, где и предполагал найти, это придает мне решимости расквитаться с ним. Я не могу допустить, чтобы он остался в живых. Лучше было бы ему не родиться.

Снаружи, с того места, где они стояли, внятно слышалось каждое слово. Голос умолк, а затем приказал:

— Уведите его и привяжите к столбу, пусть постоит, помучается. А потом — расстрелять!

— Посмотри на меня, полковник! — умолял он. — Старик я, какая во мне корысть! Я и так скоро помру от немощи стариковской. Не убивай меня!

— Уведите его! — повторил голос изнутри дома.

— ...Я за все рассчитался, полковник. Тысячу раз рассчитался. У меня отняли все, что я имел. Всю жизнь меня мучили. Почти сорок лет

я прожил, прячась от людей, как зачумленный, дрожал каждую минуту от страха, что вот-вот придут и убьют меня. Я не заслужил такой смерти, полковник. Позволь мне хотя бы получить отпущение грехов. Не убивай меня! Скажи, чтобы они не убивали меня!

Он кричал. Шляпа в его руке билась о землю. Тело повисло на веревках, словно он обессилел от палочных ударов.

— Привяжите его покрепче, — раздался голос изнутри дома. — И дайте выпить: опьянеет, пуль не почувствует.

Он наконец затих. Он лежал на

земле, притулившись к столбу. Приходил его сын Хустино. Потом Хустино ушел и снова вернулся. Потом он вернулся во второй раз.

Хустино взвалил его на осла и крепко-накрепко привязал к сбруе, чтобы он ненароком не отвязался и не упал. А чтобы не пугать людей, натянул ему на голову мешок. Потом Хустино стегнул осла, и оба торопливо и покорно затрусили по дороге. Надо было поспеть в Палоденадо до вечера, чтобы договориться насчет заупокойной службы и похорон.

— Невестка и внучата, поди, не узнают тебя, — размышлял Хустино, обращаясь к отцу. — Посмотрят и не

поверят, что это ты. Или подумают, койот в поле заел. Все лицо издырявили. Еще и милосердные: добивали.

Лувина

«Среди высоких гор, что тянутся там, на юге, самая высокая — Лувина. И самая каменистая. Она почти вся сложена из того серого камня, который обычно идет на изготовление известки. Но на Лувине из него известки не делают, он валяется под ногами без всякой пользы. Местные жители зовут этот камень „диким“, и оттого весь склон, ведущий к вершине Лувины, получил название „Дикие камни“. Солнце и ветер постепенно разрушают породу, и земля здесь белая и сверкающая, словно она всегда усыпана утренней

росой. Но роса — это только для сравнения, потому что на Лувине и ночью и днем холодно, и влага, не успев осесть на землю росой, сгущается в облака.

...Земли-то, собственно говоря, нет: кругом дыбятся скалы, зияют глубокие расщелины и пропасти, в которые сколько ни вглядывайся — дна не увидишь. Жители Лувины говорят, будто из этих пропастей ночью поднимаются сны. Не знаю. Я видел лишь, как оттуда поднимается ветер: он взвивается вверх пыльными вихрями, и чудится, ими выстреливают из гигантских камышовых трубок притаившиеся где-то там, в черной глубине,

остервенелые великаны. Кое-где на кручах, едва держась корешками за неглубокую почву, цепляясь изо всех сил ползучими веточками за выступы скалы, зеленеют хилые кустики сладко-горького паслен, — даже этим неприхотливым растеньицам не дает здесь вырасти неутихающий ветер. Лишь изредка там, где между камнями есть хоть немного тени, заметишь белые цветы мексиканского колючего мака. Но лепестки его быстро облетают, и тогда становится слышно, как утыканные колючками ветки распарывают мчащийся ветер, издавая при этом звук, похожий на свист ножа по точилу.

Бы уже, наверно, и сами обратили внимание — над Лувиной все время дует ветер. Бурый ветер. Говорят, — бурый он оттого, что приносит с вулкана тучи песка и пепла. Так это или нет, но вокруг вас все заволакивается темной мглой. Вы сможете в этом убедиться сами. Ветер набрасывается на Лувину со свирепостью дикого зверя. Да, да, вас не оставляет ощущение, что это не ветер, а хищник, который терзает зубами свою добычу. Яростные вихри срывают крыши с домов, и таких злополучных дней набирается за год довольно много. Сорвать кровлю — это для тамошнего ветра все равно, что сдунуть у вас с головы

соломенную шляпу. И стоит потом домишко непокрытый — одни сиротливые стены. На Лувине ветер никогда не стихает — если он не бушует, так скребется. Скребется, будто и в самом деле у него — когти. Вы слышите этот скребущий звук утром и вечером, час за часом. Ветер Лувины не ведает устали, он неумоимо царапается о стены, выдирает из земли гремучие камни, шарит за дверьми, загоняет под их полотнища свои холодные острые лопаты. От него нет спасения, он пробирает вас до костей, и вы чувствуете, еще немного, он вытрясет у вас душу из тела. Вы все это испытаете сами».

Рассказчик примолк, глядя на улицу.

Снаружи долетал шум вздувшейся реки, с плеском несшей свои воды через камышовые заросли; тихо шелестели ветви миндальных деревьев; кричали дети, играя в полосе света, падавшей из дверей таверны.

В комнату влетали термиты и, ударившись о стекло керосиновой лампы, падали с обгорелыми крылышками на пол. А за стенами дома быстро густела темнота.

— Слушай, Камило, дай-ка нам еще пару пива! — попросил рассказчик. — И вот еще что, — заговорил он снова. — Никогда вы не

увидите, сударь, на Лувине ясного голубого неба. Небосвод там какой-то линиялый, затянутый белесой известковой мутью, и муть эта никогда не расходится. А склоны горы — голые: ни деревца, ни травки зеленой, не на чем отдохнуть глазам, и все вокруг, будто пеплом, припорошено известковой пылью. Вы то увидите сами: угасшие, мертвые горы и высоко поднятую над ними огромную голову Лувины с россыпью лачуг, белеющих издали, как смертный венчик на лбу покойника.

Возгласы детей зазвучали рядом, ворвались в таверну. Рассказчик встал, подошел к дверям.

— Марш отсюда! —
скомандовал он. — Не мешайте
людям разговаривать! Играйте, но
только без крика.

Он вернулся к столу, уселся и
продолжал:

— Да, так вот, я уже говорил,
дожди на Лувине выпадают редко. В
середине года только налетят грозы,
исхлещут, изроют склоны, смоят
чуть ли не дочиста всю почву и
оставят после себя, куда ни взгляни,
одни камни. Зато хороши в это время
тучи. Они ползут от горы к горе,
тяжелые, набухшие, сталкиваются
друг с другом и разлетаются в разные
стороны, точь-в-точь надутые бычьи
пузыри, и тут же, будто вспоротые

лезвиями скал, гулко лопаются, раскатывая по ущельям грохочущий гром. Так продолжается дней десять-двенадцать. Потом грозы уходят и возвращаются лишь через год, а иногда — лишь через несколько лет.

...Да, дожди на Лувине выпадают редко. Так редко, что как бы и вовсе не выпадают. И земля там мало того, что вся иссохла, съежилась и растрескалась, как старая кожа, она после гроз покрывается еще «дождевой стерней» — так именуют на Лувине шипы затвердевшей грязи, которые при ходьбе вонзаются вам в подошвы, будто острые камни. Право, кажется, там сама земля оцетинилась

терниями.

Он выпил все свое пиво до капли, на дне бутылки осталась одна пена.

— С какой стороны ни взглянуть, — продолжал он, — нет на свете места печальней Лувины. Вы это почувствуете сразу же, как только приедете. Я бы сказал, что там навечно свила себе гнездо тоска. На Лувине люди не знают, что такое улыбка, лица у них словно одеревенели.

Тоска на Лувине почти осязаема, почти что зрима, она не оставляет вас ни днем, ни ночью. Даже ветер не в силах ее развеять, он только ворошит и растравляет ее. Вы

чувствуете, что это место — ее родина, дом, где она обитает исконно и неизбывно. На Лувине вам от тоски некуда деться, вы ее ощущаете на вкус, на ощупь, она обступает вас со всех сторон, гнетет и давит; она, словно огромный пластырь, налегла на ваше сердце и убивает в нем жизнь.

...Тамошние люди говорят, будто в полнолуние на улицах Лувины можно увидеть ветер. Приняв человеческий образ, он носится между домами, метя по земле свисающим с плеч черным плащом. Но я, если что и видал на Лунине в лунные ночи, так разве что безнадежность... Одну

безнадежность.

Что же вы не пьете свое пиво? Вы к нему даже не притронулись. А вы все-таки попробуйте. Может, оно вам не нравится, потому что такое теплое? Но другого у нас тут не бывает. Я и сам знаю: теплое пиво — изрядная пакость, смахивает на ослиную мочу. Однако здесь ко всему привыкнешь. Там, на горе, вы и такого не попробуете, за это уж я вам ручаюсь. Да, да, там вы стоскуетесь даже по здешнему пиву. На Лувине вы ничего, кроме местной мескалевой водки, не достанете. Они там настаивают ее на каком-то зелье, которое называют «охасэ». Но много ее не выпьешь: два-три глотка, и

голова идет кругом, будто вас запустили, как волчок. Так что лучше уж тут попейте пивка. Я знаю, что говорю.

А река по-прежнему вела шумную распрю с камышами. Шелестели ветви деревьев. Играли дети. Стемнело, но время еще было раннее.

Рассказчик снова подошел к двери и выглянул наружу.

— Обычно, когда вспоминаешь прошлое, — заговорил он, возвращаясь к столу, — все кажется так легко, просто. В воспоминаниях пережитое утрачивает остроту, становится непохожим на себя. Но, вспоминая Лувину, я вновь

испытываю то, что пережил, и рассказываю именно так, как оно было. Я жил там. Нет, загубил там свою жизнь. Приехал я туда молодым, исполненным надежд идеалистом, — вернулся старым, опустошенным. А теперь туда едете вы... Да, да, смотрю на вас и вижу себя в день приезда. Так и кажется, будто это не вам, а мне предстоит туда ехать, все всплыло в памяти... Когда я приехал в Лувину... Не возражаете, если я выпью ваше пиво? Я смотрю, вы совсем на него внимания не обращаете. А я без пива уже не могу, оно приносит мне облегчение. Выпьешь — и будто взбрызнули голову живой водой. Да,

так вот я говорю, когда мы приехали впервые в Лувину, возчик, который доставил нас, сразу же повернул назад, не дал даже отдохнуть лошадям.

— Ну, прощайте, — кинул он через плечо, едва мы сошли с повозки.

— Куда ты? — удивился я. — Зачем гнать лошадей по такой жаре? Они у тебя и так из сил выбились.

— Тут задержимся — им и вовсе каюк, — ответил возчик. — Нет уж, прощайте.

И он повернул назад, вниз по дороге через Дикие камни, и, хотя спуск был крутой, все настегивал и настегивал лошадей, словно за ним

по пятам гналась нечистая сила.

А мы с женой и с тремя ребятишками остались там. Стоим посреди площади — в руках чемоданы, узлы. Вроде бы приехали в селение, но людей не видать, только ветер посвистывает между домами...

А площадь — голая, ни кустика, ни травинки; ветер мчит через нее, не задерживаясь. И вот стоим мы посреди этой голой площади, как после пожара.

— Куда это мы с тобой заехали, Агриппина? — спрашиваю я у жены.

Она только плечами пожала.

— Ну ладно, если не возражаешь, сходи поищи, где тут можно пообедать и остановиться на

ночь, — говорю я ей. — Мы тебя подождем.

Она взяла на руки младшего сынишку и ушла. Ушла — и пропала...

Когда солнце спряталось за горами и светились уже одни только вершины, мы отправились ее разыскивать. Мы долго блуждали по безлюдным улочкам и наконец отыскали ее. Она сидела посреди пустой церкви. Ребенок спал у нее на коленях.

— Агриппина, что ты тут делаешь?

— Зашла помолиться.

— С чего это ты вдруг? — удивился я.

Она снова пожала плечами.

Кому там было молиться в этом пустом каменном сарае с зияющими проемами входных арок и дырявой крышей, через которую ветер проходил, как сквозь решето?

— Ты нашла гостиницу?

— Здесь нет гостиницы.

— А постоялый двор?

— Здесь нет постоянного двора.

— А ты хоть кого-нибудь видела? Есть же тут люди? — допытывался я.

— Да, в том доме, напротив... Женщины... Они и сейчас там стоят, за дверью. Вон сквозь щели блестят глаза. Видишь? Это они... Разглядывают нас... Одна набралась

храбрости, голову высунула... Глаза огромные, точно блюдца. Смотри, так и блестят... Но им нечем нас накормить. Они мне даже дверей не открыли, только сказали, что у них в деревне нечего есть... Тогда я вошла сюда, в эту церковь, и стала молиться за нас Господу.

— Но почему ты не вернулась на площадь? Ведь мы тебя ждали.

— Я пришла сюда помолиться. Я еще не кончила молитвы.

— Куда мы с тобой заехали, Агриппина?

Она пожала плечами.

Мы устроились на ночлег в церкви, в углу за голым алтарем. Правда, здесь тоже сквозило, но не

так пронизывающе. Всю ночь ветер, протяжно завывая, метался над нами, со свистом влетал и вылетал в открытые арки притвора и сотрясал незримыми руками тяжелые кресты из мескита, развешенные по стенам церкви в ознаменование этапов крестного пути Спасителя. При каждом порыве ветра проволока, которой были прикручены эти громадные топорные кресты, скрежетала, и чудилось, будто в церкви кто-то яростно скрипит зубами.

Дети плакали, они не могли уснуть от страха. Жена сидела, обхватив их всех троих руками, прижимая к себе беззащитную кучку

детских телец. А я — я не знал, что делать.

Перед рассветом ветер улегся. Но потом поднялся снова. И все же была в ночи минута полной тишины и покоя, когда, казалось, небосвод опустился на землю и придавил своей тяжестью все ее звуки... Слышалось ровное дыхание уснувших наконец детей. Мирно дышала, лежа рядом со мной, жена.

— Что это? — спросила она меня вдруг.

— О чем ты? — ответил я вопросом на ее вопрос.

— Вот это... шорох. Слышишь?

— Это тишина. Спи. Надо хоть немного отдохнуть. Скоро рассвет.

Но в следующий миг и я услышал какой-то странный плеск, будто в темноте над самыми нашими головами проносились летучие мыши. Летучие мыши с такими длинными крыльями, что при взмахе они касались пола церкви. Я вскочил на ноги. Крылья затрепетали отчетливо и громко, словно мыши всей стаей испуганно ринулись вон из храма сквозь пустые проемы дверей. Я на цыпочках двинулся к притвору; я шел на доносившийся оттуда непонятный шелест. Под аркой я остановился — и увидел их. Увидел женщин Лувины. У каждой на голове была темная шаль, а на плече — кувшин для воды. Черные

тени на черном фоне ночи.

— Что вам здесь надо? — спросил я у них. — Куда вы в такой ранний час?

— Мы идем по воду, — ответил из толпы чей-то голос.

Они молча смотрели на меня, а потом повернулись и двинулись со своими черными кувшинами вниз по улице и растворились, как тени, в сумраке уходящей ночи.

Нет, никогда я не забуду ту ночь, первую нашу ночь в Лувине.

Она стоит того, чтобы помянуть ее лишним глотком пива, вы со мной согласны? Хотя бы для того, чтобы этот глоток отбил у воспоминаний их горечь.

— Вы, кажется, спрашивали, сколько лет я прожил в Лувине?.. По правде говоря, сам не знаю. Я там схватил лихорадку и, пока болел, сбился со счета времени. Вероятно, я прожил там целую вечность. Вы приезжаете туда, и время для вас как бы останавливается. Там не считают часов, никто не печалится, что годы уходят. Просто утром солнце встает, вечером закатывается. Только и всего: сначала день, потом ночь, день и ночь — и так до самого смертного часа. И смерть для тех, кто живет в Лувине, это — свет надежды.

Вы, наверно, думаете, что это он все об одном и том же. Да, сеньор, об

одном и том же... Если сидеть изодня в день на пороге дома, глядя, как всходит и заходит солнце, и следить за ним, сперва подымая, а затем опуская голову, наступает минута, когда внутри у вас что-то расслабляется, какая-то пружинка, и вы теряете ощущение времени, вы погружаетесь в покой небытия, заживо переступаете порог вечности. Так живут старики Лувины.

Дело в том, что Лувина населена одними лишь стариками и старухами и, если так можно выразиться, не появившимися на свет младенцами... Да еще изможденными женщинами, которые еле таскают ноги от слабости. Мальчики в Лувине не

задерживаются... Они становятся взрослыми на заре жизни, не успев возмужать. Вчера — материнская грудь, сегодня — мотыга в поле. Всего один шаг. Потом еще один — за околицу, и прощай, Лувина! Вот как обстоят там дела.

Так что живут в Лувине лишь немощные старики, безмужние женщины и мужние жены, чьи кормильцы ушли на заработки, и теперь один Господь знает, где они и что с ними... Время от времени мужчины возвращаются, и приезд их чем-то похож на летние грозы, которые изредка проносятся над Лувиной, — я вам о них рассказывал. Человек вернулся домой, и по всему

селению расходится одобрителный шепот; потом вернувшийся опять покидает дом, и его провожает что-то вроде ропота... Сыновья привозят своим старикам мешок со съестным, мужья оставляют женам на память еще одного ребенка. И опять от них ни слуху ни духу; одни исчезают до следующего года, иные — навсегда... Сыновья уходят на заработки — так уж там заведено. «Как по обычаю положено», — говорят жители Лувины. Впрочем, суть дела от названия не меняется: сыновья всю жизнь тянут лямку, чтобы только прокормить родителей, как родители в свое время тянули лямку, чтобы прокормить дедов. Кто знает, сколько

поколений следовало этому
«обычаю»...

А пока сыновья мыкаются в чужих краях, старики сидят на пороге дома, бессильно опустив дряхлые руки, и ждут. Ждут сыновей — и дня своей смерти. И если они еще живы, то обязаны этим только сыновней благодарности... Одинокие старики в одинокой, забытой Богом Лувине.

Как-то раз я принялся убеждать их, что надо переселиться куда-нибудь в другое место, на плодородные земли. «Уедемте отсюда, — уговаривал я их. — Уж как-нибудь да устроимся. Обратимся к Конгрессу, он нам поможет».

Они слушали, уставившись на меня немигающими глазами, и лишь где-то в самой глубине этих погасших глаз еще теплилась искорка жизни.

— Конгресс поможет, говоришь? А ты о нем что-нибудь знаешь, учитель?

— Конечно, — ответил я.

— Ну и мы знаем, что это за птица такая. Был случай узнать, и не один. Только вот насчет матери его мы пока что ничего не слыхали.

Я пытался им объяснить, что мать Конгресса — родина. Но они отрицательно покачали головой: «Нет, учитель, что-то тут не так», — и рассмеялись. Б первый и в

последний раз видел я тогда, чтобы люди Лувины смеялись. Обнажив щербатые зубы, старики заявили мне, что у таких типов, как этот Конгресс, матерей не бывает.

И знаете ли, они правы. Слишком уж высокопоставленная это особа — наш Конгресс. О существовании Лувины власти вспоминают, лишь когда кто-нибудь из ее сыновей, покинувших родные горы, совершит преступление. Тогда парня приказывают разыскать и присылают за ним вооруженных людей даже в Лувину, а потом расстреливают. Если бы не это, я бы сказал, там, наверху, и не подозревают, что есть на свете такое

селение.

— Ты уговариваешь нас уехать отсюда, — сказали они мне, — хватит, дескать, вам голодать, кому от этого польза. Хорошо, мы уедем. Но как нам увезти с собой наших умерших? Их последнее жилище здесь, и мы не можем бросить их одних.

Так они там живут и поныне. Вы все это скоро увидите сами. Чтобы заглушить голод, они жуют стручки мескита и глотают собственную слюну. Шаткими тенями бредут они по улице, держась за стены домов, и кажется, если бы ветер их не подталкивал, у них бы не хватило сил передвигать ноги.

— А ветер? — не выдержал я однажды. — Как можно к нему привыкнуть? Ведь он же вас изведет.

— Раз ветер дует, стало быть так надо, — ответили они мне. — На то Божья воля. Когда ветер спадает — плохо. В безветрие солнце вроде бы ниже к земле спускается, печет над самой головой, выпаривает последнюю воду, какая еще держится в теле, высасывает из нас всю кровь. А ветер поднимется и солнце поднимет кверху, там его и держит. Так что никак нам нельзя без ветра.

С тех пор я оставил свои уговоры. Я уехал из Лувины и больше не возвращался туда. И, думаю, не вернусь.

...Смотрите-ка, какие штуки выкидывает жизнь. Мне сказали: «Мы даем вам направление в Сан-Хуан-Лувину». И вот я говорю с человеком, который едет работать туда, как пятнадцать лет назад ехал я.

Я был полон сил, голова — набита идеалами... Вы сами знаете, всем нам прививают благородные идеалы. И мы потом весь этот сумбур пытаемся применить к жизни, считаем его панацеей ото всех зол. Но на Лувине мои благие намерения дали осечку. Я предпринял опыт — и потерпел неудачу.

Сан-Хуан-Лувина! Это название звучало в моих ушах райской музыкой. Но очутился я там в

чистилице. Вымирающее селение, где передохли от голода все собаки, так что некому даже повить на луну, нарушить ночное безмолвие. Да, безмолвие. Потому что стоит вам привыкнуть к шуму ветра, делается тихо, как в пустыне. И тогда вам конец. Посмотрите на меня, я конченный человек. Ничего, приедете туда, сами поймете, что я имею в виду...

Как вы думаете, не попросить ли нам у хозяина по рюмке мескалевой водки? Пиво мешает спокойной беседе, приходится то и дело выходить за дверь. Эй, Камило, принеси-ка нам две рюмки мескаля!

Да, так вот, я вам говорил...

Он не закончил фразы и устоялся неподвижным взглядом в стол, по которому ползали термиты, похожие без своих обгоревших крыльев на гладких червячков.

Было слышно, как надвигается ночь. Громче шумела река, мчась через камыши; затихли вдали голоса детей. На клочке неба, в дверном проеме, проступили первые звезды.

Рассказчик, минуту назад сосредоточенно глядевший на бескрылых термитов, уронил голову на стол и заснул.

В ту ночь, когда он остался один

— Что вы плететесь, как неживые? — крикнул Фелисиано Руэлас тем, что шли впереди. — Того и гляди, на ходу уснем. Вам что, не к спеху?

— Завтра перед рассветом будем на месте, — ответили ему.

Это были последние слова, которые он слышал от них. Их последние слова. Но об этом он вспомнил только потом, на другой день.

Их было трое. Они шли, внимательно глядя себе под ноги,

потому что ночью не очень-то светло, а им не хотелось останавливаться.

«Оно и лучше, что темно. Нас не заметят», — врезались ему в память их слова, произнесенные еще раньше, может быть, прошлой ночью. Он уже не помнил когда. Дорога под ногами убивала все мысли.

Теперь, на подъеме, она вновь ринулась в атаку: она встала и пошла на него, обхватила со всех сторон, ища, где у него самое слабое, усталое место, и, отыскав, навалилась всем своим каменным гнетом на плечи, и без того измученные тяжестью карабинов.

Пока они шли по равнине, он

шагал быстро. Но на взгорье отстал. Голова уже не держалась прямо, а потихоньку качалась, вверх-вниз — в такт его замедляющимся шагам. Двое других прошли мимо; они обогнали его и сейчас были далеко впереди, а он плелся сзади и клевал носом.

Он отставал от них все больше. Дорога высилась перед ним почти на уровне глаз. Карабины оттягивали плечи. Сон насел на закорки, гнул к земле.

Он отметил про себя, что уже не слышит звука шагов, раздававшихся непрерывно все эти ночи, — он и сам не помнит, сколько их было, этих ночей, сколько времени подряд

звучал то рядом, то впереди гулкий стук сапог по каменистой дороге. «От Магдалены дотуда — одна ночь. Потом оттуда досюда — другая. А эта — третья. Не так уж много, — думал он, — если бы днем отсыпаться». А они ни в какую. «Заснем, — говорят, — тут нас и возьмут. Тогда конец».

— Конец? Для кого? — спросил он вслух: наседающий сон заставлял его разговаривать с самим собой. — А я им: погодите, хоть сегодня передохнем. Выспимся, завтра пойдем веселей, наверстаем упущенное. А случится удирать, сил больше будет.

Глаза слипались. Он

остановился.

— Все, дальше не могу, — проговорил он тихо. — Куда торопиться? Один переход выиграем. А что это даст, раз мы столько времени зря потеряли? Эй, где вы там?! — закричал он в темноту.

И уже самому себе вполголоса сказал: «Ну и пусть! Ушли, так ушли!»

Он прислонился к дереву. От земли тянуло холодом, и пот на спине у него сразу простыл — его словно окатили ведром студеной воды. Наверно, это те самые горы, про которые им говорили. Внизу, у подножия, — теплынь, а тут — холодина, сквозь пальто пробирает.

Вроде задрали рубашку и ледяными руками — по голому телу.

Он опустился на землю, поросшую мхом, и раскинул руки, будто хотел измерить, далеко ли простирается ночь. Пальцы его уткнулись в стволы деревьев — вдоль дороги шла зеленая посадка. Он вдохнул душистый смоляной запах и, засыпая, откинулся на спину, чувствуя, как сон сковывает все его тело.

Проснулся он от рассветной прохлады, от росяной сырости.

Открыв глаза, он увидел сквозь темные ветви синеватое небо с прозрачными звездами.

«Смеркается», — подумал он. И снова уснул.

Он вскочил на ноги, разбуженный криками людей и частым цоканьем многих копыт по сухой каменистой дороге. По краю небосклона тянулась полоса желтого света.

Поравнявшись, погонщики оглядели его.

— Доброе утро, — поздоровались они с ним. Но он не ответил на их приветствие.

Он вспомнил, как и почему очутился на этой дороге. Уже рассвело. А чтобы ускользнуть от патрулей, горы нужно было перейти ночью. Этот перевал охраняется

особенно тщательно, их предупреждали.

Он поднял с земли карабины, взвалил их на плечи и, свернув с дороги, взял в сторону, лесом, держа путь на восход. Он то подымался в гору, то спускался вниз, пересекая бугристые, все в выбоинах и камнях ХОЛМЫ.

Ему уже чудилось, как погонщики объясняют: «Мы повстречали его там, наверху. С лица такой-то, росту такого-то. И карабины при нем, несколько штук».

Он бросил карабины. Потом снял и кинул патронташи. Теперь ноги сами несли его вперед, он почти бежал, словно надеялся, что успеет

обогнать погонщиков.

«Сперва все вверх, до нагорья, обойдете его по краю — и вниз». Так он и идет. На все Божья воля. Он идет, как ему было сказано. Но только днем, а не ночью.

Глубокая падь преградила ему дорогу. По ту сторону уходила в серую даль широкая равнина.

«Они уже, наверное, там. Отдыхают, греются себе на солнышке. Для них все позади», — подумалось ему.

И он ринулся вниз по крутому склону, бежал, срывался, катился кувырком, поднимался на ноги и снова кубарем летел вниз.

«На все Божья воля», — шептал

он, и бег его все чаще переходил в беспомощное падение.

А в ушах гремели голоса погонщиков: «Доброе утро!» Он сразу заметил, что они смотрят на него подозрительно. Они сообщат о нем первому же патрулю: «Мы видели его там-то и там-то. Он скоро будет здесь».

Внезапно он остановился, как вкопанный.

— С нами Бог! — вырвалось у него. — «Христос, царь земной и небесный!» — чуть было не закричал он громко, но крик замер у него в горле. Он выхватил из кобуры револьвер и сунул его за пояс под рубашку — так будет надежней.

Прижатая к животу сталь оружия придала ему уверенности. Теперь он пробирался вперед крадучись, неслышно, как кошка. Он шел к раскинувшемуся внизу ранчо Агуа-Сарка, не спуская глаз с его просторных дворов, — там пылали большие костры, и вокруг них грелись солдаты. Солдат было много.

Вот и глинобитная ограда скотного двора. Можно разглядеть все, как следует. Он увидел их лица. Нет, он не обознался, это они: его дядя Танис и дядя Либрадо. Около костров мельтешила солдатня, а они покачивались вдвоем посреди двора на суку мескита. От огня поднимался дым, застилал их остекленевшие

глаза, покрывал копотью лица, но им это было уже все равно.

Он не захотел больше смотреть на них. Он пополз вдоль ограды и, забившись в угол за выступом, пролежал несколько минут, расслабив мускулы, чтобы дать отдохнуть телу. Где-то внутри, под ложечкой, у него посасывал противный холодок.

— Пора их снимать, чего ждем, а? — услышал он над собой вверху чей-то голос.

— Третьего дожидаемся. Их, говорят, трое было, значит, и висеть должно трое. Третий-то, сказывали, еще мальчишка совсем. Мальчишка-мальчишка, а хватило ума устроить

засаду лейтенанту Парре, всех его людей уложил. Ничего, придет к своему логову! Эти-то пришли, а ведь и постарше и похитрей были. Майор сказал: еще два дня подождем, сегодня и завтра, — не придет, вздернем первого, кто сюда сунется. Приказ был — повесить троих.

— А почему на розыски не посылают? Пошли бы искать — все веселей, чем сидеть сложа руки.

— Зачем искать. Сам придет, никуда не денется. Они сейчас все в горы уходят, к хребту Команха, в «Отряд четырнадцати». Эти трое уже, считай, из последних. А по мне, так лучше было бы их пропустить, пускай бы себе в отряд шли, всыпали

перцу на той стороне, кому надо.

— Да, это бы, конечно, не плохо. Только вот после как бы нас же самих не послали туда расхлебывать эту кашу.

Фелисиано Руэлас пролежал в своем укрытии еще минуту-другую, а когда растаяла тошнотная щекотка под ложечкой, набрал в легкие побольше воздуха, как перед прыжком в воду, и, припадая к земле, подтягиваясь на руках, пополз прочь от ограды.

Добравшись до ручья, он осторожно приподнял голову, огляделся и бросился бежать, прокладывая себе путь среди высокой прибрежной травы. Он

бежал, не оборачиваясь, не замедляя бега, пока не увидел, что ручей вывел его на равнину. Тогда он остановился и, еще весь дрожа, перевел дыхание.

Помнишь?

Помнишь Урбано Гомеса? Сына дона Урбано? Внука Димаса, ну, того, что на праздники устраивал у нас вертепное действо? Он даже, когда умирал, декламировал: «Со злости лопни, сатана», помнишь? Во время инфлуэнцы? С тех пор немало воды утекло, лет пятнадцать будет, никак не меньше. Да ты наверняка его помнишь. Мы еще его «дедушкой» прозвали, потому что у его второго сына, Фиденсио Гомеса, были две дочери — ох и кокетки: одна чернявенькая, низенького росточка, ее нехорошо так окрестили: Задери

Подол; а другая — высокая, длинноногая, с голубыми глазами, поговаривали даже, будто это не его дочь. Больная она была, припадочная, что ли. Помнишь, в церкви во время мессы, как дойдет до возношения даров, — бац! — опять у нее припадок, вся служба, конечно, кувырком, и не разберешь, хохочет она или плачет; бывало, не успокоится, пока ее вон не выведут и сладкой воды не дадут выпить. Она после вышла за Лусио Чико, у которого плантация мескалевой агавы, ты эту плантацию знаешь, она раньше Либрадо принадлежала, помнишь, вверх по реке, где льняная маслобойка Теодолусов.

А мамашу его звали у нас Прости Господи, вечно у ней скандалы выходили: то с тем связалась, то с этим. А свяжется — непременно с прибылью останется: то сына Господь пошлет, то дочку. Говорят, у нее деньжата водились, но она их все на похороны перевела: не держались у нее дети, родит — и на кладбище. И каждого с музыкой хоронила, да еще монахов нанимала, и они всю дорогу распевали «Славу», «Осанну» и еще эту вот, знаешь, песнь: «Прими, Господи, душу младенца в сонмы ангельских сил». С этих-то похорон она и разорилась — больно дорого они ей вставляли: выпивка на помин души — она денег

стоит. В живых у нее только двое детей осталось: Урбано и Наталия. Они уже в бедности у ней родились, и вырастить их ей не пришлось, померла она в последних родах, ей тогда под пятьдесят было, совсем старуха.

Не может быть, чтоб ты ее не знал, сварливая она была такая, скандалистка; на рынок пойдет, непременно с торговками сцепится: чересчур дорого за томаты с нее запросили — гвалт подымет: «Шкуру дерете», — и пошла, жизни не рад будешь. А после, как денег лишилась, все по свалкам да около помоек шастала, подбирала, что придется: где перышко луковое, где молодой

фасоли стручок отваренный, где сахарного тростника обрезок. «Чтобы детям моим сладенького хоть во рту подержать». А их у нее всего двое в живых осталось, я уже говорил. Потом, вскорости, и она отдала Богу душу.

Сам-то Урбано Гомес был примерно одних с нами лет, может на полгода постарше. Он здорово в чижики играл, а уж пройдоха: обставить, надуть — прямо артист. Помнишь, гвоздики он нам продавал, и мы, дураки, покупали, а зачем, спрашивается, могли бы и сами в лес сбегать, насобирать. На школьном дворе дерево манговое росло, так он, бывало, незрелых манго с него нарвет

и нам сбудет. Или у сторожа школьного купит в лавчонке апельсинов и перца-чиле, сам по два сентаво заплатит, а нам по пяти перепродаст. А в ученической в своей сумке, чего-чего только он в ней не таскал: разноцветные игральные камушки, волчки, гуделки и даже зеленых светляков-щелкунов, которых ниткой за лапку привязывают, чтобы далеко не улетали. И всю эту дрянь он в лотерею разыгрывал, коммерцией за наш счет занимался. Ну как, вспомнил?

А его сестра вышла замуж за Начито Риверо, того самого, что через несколько дней после свадьбы

в уме повредился. Наталия, чтобы прокормиться, фруктовой водкой торговать стала, у бензозаправочной станции, знаешь, на большом шоссе. А Начито по улицам шлялся и на мандолине бренчал, ему эту мандолину в парикмахерской у дона Рефухио одалживали, — идет и песни играет, и все фальшиво, медведь на ухо наступил.

Урбано частенько приглашал нас к своей сестрице пропустить по стаканчику. Пили мы за его счет, в долг без отдачи, потому что в карманах у нас ветер свистел. А кончилось тем, что он без друзей остался: бывало, завидим его издали на улице — и ходу, а то как бы не

надумал долг с нас взыскивать.

Может, с этого он и стал такой злой, а может — от рождения был, не знаю.

Его после четвертого класса из школы выгнали: застали с сестрицей двоюродной, с этой, которая Задери Подол, в пустой цистерне за уборными, они там пристроились в мужа и жену играть. Вся школа сбегалась: и мальчишки, и девчонки. Стоим толпой, хохот, улюлюканье. Его, чтобы еще стыдней было, за ухо к выходной двери ведут, как бы сквозь строй. А он идет, голову поднял и кулаком грозит, погодите, мол, я еще с вами поквитаюсь.

Потом ее повели. Смотрим,

всхлипывает, глаза в землю, будто кафели под ногами считает, а в дверях не выдержала — ударилась в слезы да как взвывает, у нас аж в ушах зазвенело. Так и прокричала весь день, точь-в-точь койот ночью.

Ну да у тебя память никудышная, где тебе помнить.

Рассказывали, что дядя его Фиденсио — знаешь, хозяин сахароварни — так его отдул, что он, еще бы немного, на всю жизнь калекой параличным остался. Вот он со злости и уехал из города.

Как в воду канул, ни слуху ни духу, пока вдруг в один распрекрасный день, глядим: вернулся. Полицейским заделался. И

будто никого тут не знает. Сидит с утра до вечера на площади перед участком, на скамейке, карабин между колен поставит да исподлобья на людей поглядывает. И такая ненависть у него во взгляде. Ни с кем не заговорит, не поздоровается. А если кто сам на него посмотрит, так он прикинется, будто незнаком с тобой, будто и в глаза тебя сроду не видывал.

Тогда-то вот он и уколошил своего зятя, того, что на мандолине играл. Взбреди этому Начито в голову спеть шурина серенаду. Вечером это уже было, когда стемнело, в начале девятого часа, как раз колокола к вечерне звонили.

Вдруг слышим — крик на улице. Народ, какой в церкви был, к дверям бросился; высыпали на площадь, глядь: Начито на земле навзничь лежит, ногами и мандолиной отбивается, а Урбано стоит над ним и карабином своим, прикладом, изо всей силы раз его, раз; люди остановить его хотят, кричат что-то; а он — будто это не ему, озверел, прямо как пес бешеный. Тут парень какой-то — он вроде бы даже и нездешний — из толпы выскакивает и на него, карабин из рук вырвал да прикладом в спину ему как двинет, тот отлетел и с копыт долой, повалился животом поперек садовой скамейки, да так на ней и повис.

Никто к нему и не подошел. Чухался он на этой скамейке всю ночь, а утром, солнце еще не взошло, — смылся. Говорили, будто в церковь он заходил, к священнику, просить отпущения грехов, но тот ему не дал.

Арестовали его уже на дороге. Он на одну ногу охромел, ковылял еле-еле, ну присел отдохнуть, — тут его и взяли. Он не сопротивлялся. А потом, говорят, сам своими руками и петлю себе на шею накинул. Мало того, будто сам же по вкусу себе и дерево выбрал, на каком висеть.

Да как же ты его не помнишь? Ты его знал не хуже, чем я, мы же в школе товарищами были.

Прислушайся, не лают собаки?

— Игнасио, тебе сверху видней, может, там где-нибудь огонек светится или слышно, что люди близко?

— Нет, ничего не приметно.

— Должны бы мы уже подходить.

— Да, но я ничего не слышу.

— Погляди хорошенько!

— Нет, жилья неприметно.

— Плохо твое дело, Игнасио.

Длинная черная тень двух людей ползла по берегу ручья, подымалась вверх, спускалась вниз, взбиралась на

скалы, то укорачиваясь, то вновь вырастая. Людей было двое, тень — одна: шаткая, спотыкающаяся.

Из-за края земли круглым огненным языком высунулся месяц.

— Должны бы уже подходить к первым домам. У тебя, Игнасио, уши на воле, прислушайся, не лают собаки? Помнишь, говорили нам, Тонайя сразу за лесом. А лес вон уже сколько часов как кончился. Верно я говорю, Игнасио?

— Да. Но домов не видать.

— Притомился я маленько.

— Спусти меня на землю.

Старик попятился и, не спуская с плеч своей ноши, прислонился к высокому камню. Ноги у него

подгибались от усталости, но он боялся присесть: он знал, потом без посторонней помощи сына ему уже не поднять. Когда несколько часов назад они отправились в путь, бессильное тело Игнасио помогли ему взвалить на спину люди. Так он все время его и нес.

— Как тебе?

— Худо.

Он все скупей отзывался на вопросы, все немногословней. Отцу казалось: Игнасио временами засыпает. Но потом сына опять начинал колотить озноб, и старик каждым мускулом ощущал дрожь, сотрясавшую молодое тело. Пятки Игнасио, точно шпоры, били его с

обеих сторон по животу, а руки, обхватившие за шею, ходили ходуном, и голова отца дергалась и вздрагивала, как бубен в руках у танцора.

Старик стискивал зубы, чтобы ненароком не прикусить язык, а когда приступ кончался, спрашивал:

— Сильно болит?

— Есть малость, —

подтверждал Игнасио.

Поначалу он все просил: «Спусти меня на землю... Оставь тут... Без меня иди. Полегчает, я тебя догоню. Завтра. Или послезавтра». Раз сто, не меньше, повторил он эту просьбу. Но сейчас он и просить перестал.

Месяц светил вовсю. Они шли прямо на него. Огромный, багровый месяц, от которого в глазах стоял ослепляющий блеск, а за спиной еще длинней и черней ложились их тени.

— Я не вижу, куда иду, — произнес старик.

Сын не ответил.

Он лежал у отца на спине, весь залитый лунным светом, и когда старик взглядывал вверх, в его глазах бледное, бескровное лицо Игнасио расплывалось мутным, белесоватым пятном. Ничего больше старику снизу не видно было.

— Игнасио, ты слышишь? Я говорю, что плохо вижу тебя.

Сын молчал.

Отец шел, то и дело оступаясь, едва не падая. Удержавшись кое-как на ногах, он выпрямлялся, насколько мог, но через несколько шагов спотыкался снова.

— Мы, верно, сбились с дороги, тут одни рытвины под ногами. Говорили, Тонайя будет сразу, как перевалишь через гору. Через гору мы вон когда перевалили, а никакой Тонайи и в помине нет, да и не похоже, чтобы она была близко, — даже собачьего лая не слышать. Может, тебе там, сверху, что-нибудь видно, а? Игнасио? Сказал бы хоть словечко!

— Спусти меня на землю, отец.

— Тебе худо?

— Ага.

— Терпи, уж как-нибудь донесу тебя до Тонайи. Там вылечат. У них, сказывали, доктор есть. Бот я тебя к нему и доставлю. Столько часов тащить, тащить, а теперь одного бросить? А как нападут на тебя да прикончат?

Его шатнуло, повело в сторону, но шага через два-три он выправился и двинулся дальше.

— Я донесу тебя до Тонайи.

— Спусти меня на землю. — Голос сына стал совсем слабым, упал почти до шепота. — Чуток бы отдохнуть, полежать.

— А ты пока что поспи. Я тебя крепко держу, не бойся.

Поголубевший месяц все выше поднимался в безоблачном небе. Свет его падал на залитое потом лицо старика, и старик щурился, потому что лунное сияние мешало ему смотреть вперед, а голову опустить он не мог — не давали руки сына, сомкнутые у него под подбородком.

«...Я делаю это не ради тебя, сын мой. А ради твоей покойной матери. Ради того, что ты был и ее сыном. Вот почему я это делаю. Оставь я тебя там, где нашел, мать сочла бы, что я виноват перед ней. И я поднял тебя, беспомощного, с земли, взвалил себе на спину и тащу в Тонайю, где тебе окажут помощь. Это твоя мать дает мне силы, а не ты.

Потому что от тебя видел я одно только горе, один стыд и позор».

Он говорил, и крупные капли пота выступали у него на лице. Ночной ветер осушал их. Но на месте высохшего проступал новый пот.

«...Я надорвусь, но дотащу тебя до Тонайи, и там залечат полученные тобою раны. Хотя я и уверен, что, поправившись, ты снова возьмешься за старое. Неважно. Мне это безразлично. Только бы ты навсегда покинул наши места, чтобы я не слышал о твоих злодеяниях... Только чтобы я про тебя ничего не слышал... Потому что ты мне больше не сын. Я проклял каждую свою каплю крови, что течет в твоих жилах. Я проклял

все, что ты унаследовал от меня. Да сгинет навеки в его чреслах кровь, которую я вместе с жизнью дал ему! — так я сказал, когда до меня дошла весть, что ты шатаешься по дорогам с шайкой бандитов, грабишь и убиваешь людей... Честных, добропорядочных людей. За примером ходить недалеко. Кум Транкилино. Человек, давший тебе свое имя. Но и его не минула злая судьба — привела повстречаться с тобой. Тогда я сказал себе: „Он мне больше не сын...“»

— Ну-ка, посмотри, может уже завиднелись дома? Или что-нибудь слышно стало? Тебе-то с моей спины и видней и слышней, а то у меня уши

заложены.

— Нет, я ничего не вижу.

— Беда, Игнасио, беда мне с тобой.

— Водицы бы испить...

— Потерпи. Надо быть, уже недалёко. Ночь — вот горе. Ни одно окошко, поди, не светится. Но собаки должны бы лаять. Прислушайся.

— Пить...

— Пить! Где я тебе тут воды возьму? Камни одни кругом. Терпи уж. А хоть и была бы вода, как я ее наберу? Кто мне после поможет на спину тебя взвалить? Одному мне не справиться.

— В сон кидает, нет мочи...
Пить...

— Помню я, когда ты родился. Тоже вот так. Только и просыпался, чтобы молока насосаться, а насосешься — сизнова спать. Пока мать не догадалась: водой стала тебя поить, а то все молоко из нее вытянул. Не накормить — прорва! А уж злости! Но только не думал я, что придет время и злость эта в голову тебе кинется... Ан вышло-то по-другому. Мать, царство ей небесное, хотела, чтобы ты вырос крепким, сильным. Надеялась, опорой нам станешь, старикам. Один ты у нас был. А второй сын жизни ей стоил. Ну, да не умри она родами, доживи до сегодня, теперь бы ты ее убил.

Колени, сжимавшие его бока,

внезапно расслабились, ноги повисли, как тряпичные. И старику почудилось, что голова, лежавшая сверху на его голове, задергалась, будто от плача. Тяжелые, теплые капли, похожие на слезы, омочили ему волосы.

— Ты плачешь, Игнасио?

«Ты плачешь потому, что вспомнил мать, да? Но ты никогда ничего не сделал для нее хорошего. Ты дурно платил нам свой сыновний долг. Можно подумать, что не мы с матерью сотворили тебя из нашей любви, а что тебя создало и воплотилось в тебе само зло. Смотри же, чего ты добился. Ты тяжело ранен. Где теперь твои дружки? Их

всех перебили. Но у них никого не было. Вот они и могли бахвалиться: „По нас некому слезы лить!“ А по тебе, Игнасио?»

Он увидел впереди первые дома Тонайи. Наконец-то! Крыши так и блестели, облитые лунным светом.

Он переставлял ноги из последних сил, колени у него дрожали, он чувствовал: еще два-три шага — и он рухнет под тяжестью своей ноши. Дотащившись до первого дома, он оперся о край тротуара и спустил со спины расслабленное тело сына. Оно мешком повалилось на землю.

С натугой разняв у себя под

подбородком сцепленные пальцы Игнасио, он освободил голову, и в тот же миг в уши ему со всех сторон ударил собачий лай.

— И ты не слышал, как они лают, Игнасио? — проговорил он. — Даже надеждой и той меня не поддержал.

Северная граница

— Отец, я вам пришел сказать: я в дальнюю дорогу собрался.

— Куда же это, если не секрет?

— На Север.

— А чего ты там не видал, на Севере? Тут у тебя вроде собственная торговля имеется. Или уже бросил свиньями торговать?

— Поневоле бросишь, раз барыша нет. Не торговля — чистое разорение. На той неделе зеленью одной были сыты, а в эту — и вовсе зубы на полку. Голодаем мы, отец. Вам что — вон как живете, вам с голодухи живот не подводило.

— Что, что ты там мелешь?

— Да вот голодаем, говорю. Вам какая забота? Торгуете своими шутихами, цветными огнями да порохом — и горя мало. Что ни праздник, деньги лопатой гребете. Только не каждому в жизни такая удача, отец. Худые нынче времена, народ свиней разводить бросил. Если и есть у кого кабанчик, так для себя его держат либо уж закололи. А продают — втридорога запрашивают. Поди купи его за такие-то деньги, когда у тебя ни гроша в кармане. Кончилась моя торговля, отец.

— За каким же чертом-дьяволом тебя на Север несет?

— Подзаработать там думаю. Вы

на Кармело поглядите — нажился, богачом вернулся, даже патефон привез. Теперь к нему денежки сами плывут. Желает музыка послушать, пожалуйста, гони пять сентаво, поставит тебе по вкусу танец, или Андерсон^[8] эту, которая песни поет жалостные. Ему все равно — по пять сентаво за номер — и точка. Народ у него перед домом в очереди стоит. Вот и посудите, трудно ли: поехал и вернулся — всего и дела. Посмотрел я, посмотрел и тоже надумал на Север податься.

— А куда ты жену с детьми денешь?

— Для того я к вам и пришел. Попросить хочу, чтобы вы о них тут

позаботились.

— Я что, в няньки к тебе нанялся? Уезжаешь — дело твое, стало быть, на Божье попечение их оставляешь. Где уж мне теперь детей подымать! Хватит того, что тебя с сестрой вырастил, царство ей небесное. Вполне с меня хватит. Охота была этакий хомут на шею себе надевать. Был конь, да изъездился.

— Уж и не знаю, отец, не придумаю, что и сказать вам. Одно только скажу: вам недорого обошлось вырастить меня. Что я в жизни видел, кроме трудов да горя? Народили на свет, а дальше как сам знаешь, хоть пуп надорви. Даже не

обучили своему ремеслу: огни потешные изготовлять. Хлеб, что ли, боялись, отбивать у вас стану? Дали портки да рубашку и выставили на улицу — сам выкручивайся, учись, как на свете жить. Да чего уж, выгнали вы меня, взащей вытолкали. Вот оно и вышло, что мы теперь с голоду подышаем: сын с невесткой и внуки — всё, как говорится, потомствие ваше. Того и гляди, ноги протянем, околеем всем семейством. А если я что обидное вам сказал, погорячился, — так с голоду это. Только хорошо ли, по совести ли вы поступаете, а? Сами скажите.

— Мне-то какое дело до твоих неполадок. Не было печали, черти

накачали. А ты бы не женился. Ты моего родительского разрешения на женитьбу не спрашивал. Ушел из дому, и дело с концом.

— Чего ж было спрашивать, когда вам моя Трансито не по нраву пришлась. Вы вспомните, как оно было. Привел я ее в гости, говорю: «Вот, отец, девушка та, про которую я рассказывал, что жениться хочу». А вы и в ту сторону не смотрите, только чего-то плести стали, со стишками да прибаутками, наметки давать, дескать, девица эта вам хорошо известная и будто было у вас с ней что, вроде как с гулящей. Наговорили с три короба: я и не разобрал, что вы там накручивали,

одно только понял — насмешки над ней строите да все не по-хорошему. Вот и не стал ее больше к вам приводить. Так что зря вы на меня обиду держите. А теперь я прошу об одном: позаботьтесь об ней. Я ведь и в самом деле уезжаю. Тут никакой работы нет — днем с огнем не сыщешь.

— Враки! Работай, сын, будешь сыт, а кто сыт, не тужит. Вот тебе и весь сказ, а ты его обмозгуй. Посмотри, я старик, но жаловаться не привык. А был молодой, так и вовсе герой, даже на баб денег хватало. Работа, она тебя всем обеспечит, а уж насчет пропитания и прочих телесных надобностей и

говорить нечего. Все дело в дурости твоей. А дурости я тебя не учил, это уж ты не ври.

— Но вы меня на свет народили. Значит, должны бы помочь и на ноги встать, а не выгонять, как коня на чужое маисовое поле.

— Ты, когда из дому ушел, немаленький был. Или ты думал весь век у меня на шее сидеть? Так это одни только ящерицы до самой смерти под тем камнем живут, где вывелись. По-честному, не так-то уж тебе плохо было: бабой обзавелся, детей наплодил. А иным и твоего отведать не доводится. Проходят они по земле, как воды речные. И не пили, и не ели.

— Вы бы хоть меня присловья да стишки научили сочинять. Сами-то умеете. Какой-никакой, а был бы приработок. Вы вот народ веселите — зарабатываете. И я бы так мог. А стал вас просить — научите, вы посоветовали: «Какой со стихов доход, уж лучше яйцами торговать». Я и завел торговлю. Сперва, точно, яйцами, потом курами, потом за свиней взялся. И до сих пор, ничего не скажу, сводил концы с концами. А теперь прожился: дети пошли, на них не напасешься; деньги плывут, как вода, на торговлю ни шиша не остается. Взял бы в долг — да уж не верит никто. Правду вам говорю: ту неделю на зелени перебивались, а

эту — и зелени купить не на что. Вот я и решил на Север двинуть. Хотя вы и не верите, а у меня сердце на части разрывается, потому что я своих детей люблю. Не то что вы: еще и подрасти мы не успели, а вы нас — за порог.

— Запомни, сын, что я тебе сейчас скажу. Раз птичка гнездо вьет, значит, и яичко кладет. Доживешь до седых волос — научишься уму-разуму. Узнаешь, какова сыновья благодарность. Бросят тебя дети и «спасибо» не скажут, а после самую память о тебе расточат по ветру вместе с твоим добром.

— У вас, отец, только стишки да речи замысловатые на уме.

— Невелик стишок, да в нем правды мешок.

— Я же вас не забыл, сами видите.

— Не забыл! Пришел, потому что нужда привела. Жил бы в достатке — про отца не вспомнил. А я, как мать умерла твоя, сразу понял: один остался. Сестра твоя умерла, ну теперь и вовсе один, думаю. А ты ушел, тут я и впрямь увидел: один я, один, как перст, до конца жизни. Сейчас вот понадобился я, ты и стараешься меня разжалобить. И невдомек тебе, что человека можно родить, а воскресить нельзя. Ничего, жизнь тебя научит. Свои ноги да чужие пороги — первые учителя. И

заруби себе на носу: как постелишь, так и поспишь.

— Стало быть, отказываетесь взять заботу о моих детях?

— А что им сделается, люди еще покамест на улицах с голоду не помирают.

— Вы мне прямо скажите, будете о моей жене и детях заботиться или нет? Я уверенность должен иметь.

— Сколько их у тебя?

— Да всего-то трое мальчиков, две девочки и невестка ваша. Совсем еще она у меня молоденькая.

— Молоденькая милка каждому подстилка, так, что ли?

— До меня у нее никого не

было. Я ее честную взял. Она хорошая. Не обижайте ее.

— А когда вернуться думаешь?

— Прохлаждаться там не буду.

Сколочу денегжат — и домой. Я с вами за доброту вашу вдвойне рассчитаюсь. Об одном только прошу, чтобы были они сыты.

* * *

Из горных ранчо народ перебирался в селения. Жители селений уходили в города. В городах люди исчезали бесследно, растворяясь в массе других людей. «Вы не знаете, где нужны рабочие?»

— «Знаю. Поезжай в Сьюдад-Хуарес. Я тебя к одному человеку направлю. Всего двести песо возьму. Разыщешь его и скажешь, что от меня. Только, чур, никому ни гугу». — «Спасибо, сеньор, деньги я вам завтра доставлю!»

— Слушай, говорят в Ноноалько требуются люди на разгрузку вагонов.

— Деньгами платят?

— А то как же? По два песо за арробу.^[9]

— Не врешь? Вчера я тоже разгружал, за церковью Милосердия, не меньше тонны бананов перетаскал, а получил шиш, только что бананов поел. Не имел, видишь,

права есть, своровал вроде. Не заплатили ни черта, да еще полицией пригрозили.

— Нет, на железных дорогах дело верное, там без обмана. Поезжай, не пожалеешь.

— Чего жалеть, поеду, конечно.

— Завтра утром я тебя жду.

И верно, взяли нас на разгрузку вагонов, и мы их разгружали с утра до ночи, да еще и на другой день осталось. Заплатили деньгами. Посчитал: шестьдесят четыре песо. Каждый бы день так.

— Сеньор, вот я принес двести песо.

— Хорошо. Я тебе сейчас

открыточку напишу, покажешь моему
приятелю в Сьюдад-Хуаресе. Гляди
не потеряй. Он тебя переправит
через границу, а кроме того, ты уже
туда прибудешь на готовое место, по
контракту. Бот тебе адрес и, на
всякий случай, телефон, так скорей
встретишься с тем человеком. Нет,
нет, в Техас не просись. Про Орегон
слышал? Так вот, скажешь ему, что
хочешь в Орегон. Правильно, на сбор
яблок. С хлопковыми плантациями
не связывайся. Я вижу, ты парень
толковый. Разыщешь там
Фернандеса. Не знаешь, кто такой?
Неважно, у людей спросишь. Не
захочешь на яблоки, наймешься
шпалы укладывать. И платят больше,

и работа не сезонная. Назад приедешь, мешок долларов привезешь. Смотри же, не потеряй открытку.

— Всех нас перебили, отец.

— Кого это — всех?

— Тех, что реку перейти хотели.

Ох и шпарили, пули так и свистят. Всех положили.

— Где это было?

— Там, на Северной границе.

Мы уже в воду вошли, а они фонари на брод наставили — и давай.

— Зачем же так?

— А кто ж их знает. Помните, отец, Эстанисладо? Это он меня подбил на Север ехать. Все мне

растолковал, что да как. Мы с ним сначала до Мехико добрались, а оттуда к границе. Стали реку переходить, а они по нас из маузеров. Я бы еще, может, проскочил, слышу, он мне кричит: «Не бросай меня, землячок, вытащи отсюда». Я — назад. Смотрю, лежит он, опрокинулся навзничь — и ни рукой, ни ногой: всего изрешетили. Стал я его вытаскивать, а по воде фонари шарят, нас ищут. Кидаюсь с ним из стороны в сторону, чтоб не увидели. «Ну как, спрашиваю, живой?» А он опять: «Вытащи меня отсюда, землячок». И еще сказал: «Здорово они меня...» А мне самому пуля руку насквозь прострелила, и локоть

вывихнулся. Одной рукой тащить приходилось. «Обхвати меня покрепче», — говорю.

Выволок его на сухое место, тут он у меня и кончился. А рядом — дома, свет в окнах горит, — городок там на берегу, Охинага называется. И так кругом тихо, только камыши шуршат — будто ничего и не было. Вытащил его на берег, спрашиваю: «Жив еще?» А он ни мур-мур. Я его стал в себя приводить, оживет, думаю. До самой зари провозился: растирал и так и этак, бока разминал, чтобы он дышать начал, ничего не помогло, ни слова от него больше не добился.

Днем, смотрю, стражник идет

из пограничной охраны. «Эй, ты! Что ты тут делаешь?» — «Да вот покойника этого, беднягу, отхаживаю, может очнется». — «Это ты его убил?» — «Нет, господин сержант». — «Я не сержант. Не ты, так кто же?»

А сам в мундире, и нашивки у него с орлами, я и подумал: стражник. Тут бы каждый подумал: пистолетище на поясе, этакий вот, с пушку. А вышло, не стражник он, а начальник по эмигрантам.

Пристал, как репей: «Кто да кто?» Отвечай ему. Разорялся, разорялся, а потом как ухватит меня за волосы и давай таскать, а я сдачи дать не могу — локоть

покалеченный, одной-то рукой не развоюешься.

Я ему говорю: «Не бейте меня, раненный я в руку». Тут только перестал меня колошматить. «Раненый? — спрашивает. — Выкладывай, как дело было».

Я и рассказал, что ночью нас фонарями высветили. Мы веселые шли, думали, сейчас на той стороне будем, идем себе, пошучиваем. И только что на середину брода вышли, как сыпанут по нас из карабинов. Место открытое, куда денешься. Всех постреляли. Только мы двое и уцелели, да и то, видите, наполовину — он-то уж не дышит.

«А кто в вас стрелял?» — «Где

же нам было их углядеть? Ослепили фонарями, и давай, и давай. Палят, только гром в ушах. Тут вот и рвануло мне локоть. Вдруг слышу, товарищ зовет, просит: „Не бросай меня, землячок, вытащи из воды“. Да хоть бы мы их и видели, какая разница?»

«Судя по всему, говорит, апачи вас постреляли». — «А это кто, апачи?» — «Люди с той стороны. Бандиты». — «Мне говорили — на той стороне техасцы». — «Техасцы техасцами. Бандиты бандитами. Это даже представить себе невозможно, до чего на той стороне бандитов много. Ладно, я поговорю в Охинаге, чтобы жители товарища твоего похоронили, а ты давай-ка

отправляйся восвояси. Ты из каких мест? Ну и сидел бы дома. Деньги-то у тебя есть?» — «У него вот в кармане малость нашел. Может, хватит на дорогу?» — «Ладно, на билет я тебе дам. Тех, кто домой возвращается, ссужают деньгами на проезд. Только смотри, второй раз мне не попадайся, так тебя взгрею — больше не встанешь. Не люблю одну и ту же рожу дважды видеть. Ну давай мотай отсюда».

Вот я и явился, отец, чтоб вы про все узнали.

— Так тебе и надо, не будь простофилей, не верь первому встречному. Пошел бы ты лучше к себе да посмотрел, какая прибыль от

того, что ты дом бросил.

— Случилось что? Из малых кто помер?

— Трансито твоя сбежала. С погонщиком. Не ты ли мне тут разливался: «Хорошая она, хорошая». Ребята твои у меня в той комнате спят. А ты поди поищи, у кого ночь переночевать. Дом-то я твой продал — в счет расходов на детей. Да еще причитается с тебя тридцать песо за составление купчей и за гербовую бумагу.

— Ладно, отец, продали так продали, в суд вас не потяну. Может посчастливится, найду завтра работенку — верну вам, что задолжал. А в какую сторону ехал

ЭТОТ ПОГОНЩИК, С КОТОРЫМ ТРАНСИТО
УШЛА?

— Вроде бы туда. Я не смотрел.

— Ну, прощайте пока. Я мигом
ОБЕРНУСЬ.

— Куда ты?

— Ее догонять. Вы ж говорите,
ОНИ В ЭТУ СТОРОНУ ПОЕХАЛИ.

Анаклето Моронес

Старухи! Дьявольское отродье! Они двигались плотной толпой, точно в церковной процессии. Солнце жарило что есть мочи, а они были все в черном, и пот катил с них градом, как с утомившихся мулов. Я увидел их еще издали: над дорогой поднялась пылища, словно и вправду ко мне на ранчо тянулись тяжело навьюченные мулы. Когда бы не выбеленные пылью лица — ни дать ни взять стая черного воронья. Они шли из Амулы, шли под палящим солнцем и гнусавили молитвы. Пот ручьями лил на засаленные,

непомерной величины скапуляры.

Я спрятался сразу, как только их завидел. Я знал, что им нужно и кого они ищут. Подхватив штаны, я кинулся наутек и забился в дальний угол двора.

Но они уже входили в ворота и заметили меня. «Радуйся, Пречистая Мария!» — провозгласили они хором.

А я на камень взобрался и сижу на корточках — не за делом, так просто, только что штаны спущены: увидят, думаю, подойти близко постесняются. Куда там! Грянули: «Радуйся, Пречистая Мария!» — и на меня.

Вот бабы бессовестные! А еще

старухи, называется. Бесстыжие! Крестятся, а сами стенкой на меня, стенкой. Обступили, сгрудились, пот с них — рекой, волосы прядями на лицо налипли, будто каждую ведром воды окатило.

— Мы к тебе, Лукас Лукатеро. Из самой Амулы сюда шли, чтобы увидеть тебя. Нам тут, не доходя, сказали, что ты дома. Но только мы не ожидали, что ты нас встретишь на заднем дворе, да еще за таким делом. Мы сперва подумали, ты курам побежал корм задавать, ну и подошли поближе. Поговорить нам с тобой надо.

Ох, эти старухи! Рожи богомерзкие! Противней котяхов, что

мой осел навалил!

— Выкладывайте, что у вас там! — говорю им и застегиваю штаны.

А они, чтоб не видеть, глаза закрывают. Скромницы!

— Дело у нас к тебе имеется. Мы тебя сначала в Санто-Сантьяго разыскивали, потом в Санта-Инесе. Спасибо, добрые люди сказали, что ты оттуда уехал, перебрался сюда, на ранчо. Вот мы и пришли. Из Амулы мы.

Я уже и так догадался, кто они и откуда, мог бы даже каждую назвать по имени, но прикинулся, будто и понятия не имею, чего им от меня надо.

— Слава Богу, вот мы тебя и
ыскали, Лукас Лукатеро.

Я пригласил их в галерею,
принес для них стулья и спросил, не
поедят ли они чего-нибудь или,
может, подать им хотя бы кувшин
воды — утолить жажду.

Они расселись и вытерли
потные лица скапулярами.

— Спасибо, нам ничего не
надо, — сказали они. — Мы не для
того пришли, чтобы доставлять тебе
лишние хлопоты. У нас к тебе дело
есть.

— Ты меня знаешь, Лукас
Лукатеро? — обратилась ко мне одна
из старух.

— Вроде бы знаю, — ответил

я. — Помнится, я тебя где-то встречал. По-моему, ты Панча Фрегосо. Это тебя ограбил Омобоно Рамос? Раздел догола?

— Зовут меня, верно, Панча Фрегосо, но пока что меня никто еще не раздевал. Это злые языки сплетню распустили. Просто мы с ним заблудились, когда ходили собирать гарамбулю.[\[10\]](#) Я в конгрегации состою, в жизни бы я не допустила, чтобы...

— Чтобы что, Панча?

— Ах, Лукас, Лукас, и всегда-то у тебя плохое на уме! Никак от привычки не отстанешь людей порочить. Ну да ладно, раз ты меня знаешь, а я уж начала говорить, я

тебе и скажу, за каким делом мы пришли.

— Может, все-таки принести вам кувшин воды, испили бы с дороги, — спросил я их снова.

— Не стоит беспокойства. Но если ты так просишь, обижать тебя не будем, спасибо.

Я принес им миртовой воды. В кувшине с двумя ручками. Вылакали все до капли. Я притащил второй кувшин. И этот выдули. Тогда я приволок им кувшинище речной воды. К ней они не притронулись, оставили на потом, когда поедят, им, видите ли, после еды захочется пить.

Они сидели в ряд в своих замызганных, пропыленных платьях,

десять старух в черном. Дочери Понсиано, Эмилиано, Крессенсиано, кабатчика Торибио и цирюльника Анастасио.

У, старые образины! Хоть бы одна помоложе! Всем под пятьдесят! Высохшие, сморщенные, пожухлый букет третьеголетошних роз. Выбрать не из чего.

— Так что же вам нужно?

— К тебе пришли.

— Ко мне? Спасибо, что вспомнили. Я, как видите, жив-здоров. Напрасно вы обо мне беспокоились.

— Далеконько ты забрался. Надо же, место какое глухое выискал. И ни адреса никому не оставил, ни

весточки о себе не подаешь. И где только мы про тебя не расспрашивали — еле-еле на след попали.

— Почему на след? Я ни от кого не прячусь. Нравится мне тут: ни шума, ни толкотни, — вот и живу. А все-таки за каким же делом вы ко мне пожаловали?

— Да видишь ли... Нет, нет, ты не беспокойся, мы не голодные, перед дорогой подкрепились у Торкаситы. Нас там хорошо накормили. Давай-ка лучше рассудим с тобой наше дело. Сядь напротив нас, чтобы нам всем тебя видеть, и выслушай, что мы тебе скажем.

Я стоял, как на горячих углях.

Мне позарез надо было на задний двор. Несушки там раскудахтались. Если сейчас яйца не собрать, их кролики слопают.

— Мне за яйцами сбегать надо, — не выдержал я.

— Не стоит, мы сегодня плотно поели. Ты об нас не беспокойся.

— У меня там пара кроликов незапертых, не доглядишь — все яйца съедят. Я мигом.

Они остались сидеть, а я кинулся на задний двор. Я не собирался возвращаться. Сейчас рвану за ворота — и айда. Там сразу лес вверх по горе. Натек-ка, старые хрычовки, выкусите!

Мимолетом я глянул в угол

двора, на кучу камней, и вдруг увидел, что она здорово похожа на могильный холмик. Я бросился расшвыривать камни в разные стороны. Они ударялись о плиты двора, выбивая снопы искр. Это были речные, обкатанные водой кругляши, и раскидывать их было легко. Проклятые старухи, Иудино отродье! Задали мне работенку. И какого дьявола их сюда принесло!

Я оставил камни и вернулся к своим гостям. Положил перед ними свежие куриные яйца.

— Ты что, убил кроликов? Мы видели, ты швырял в них камнями. А яйца мы спрячем, потом съедим. Зря ты из-за нас хлопчешь.

— Мой вам совет, вы их пока что положите, пусть так полежат, а то как бы у вас там за пазухой цыплята из них не вывелись.

— Ну и охальник же ты, Лукас Лукатеро. Все бы тебе над добрыми людьми насмешки строить. Да в нас уже и жара того нет, чтоб цыплята могли вывести.

— Есть ли в вас самих жар или нету, этого я не знаю. А вот наружного жара сегодня вполне хватит кровь разогреть.

Я думал только об одном, как бы их поскорей спровадить. Выставить к чертовой матери, чтобы навсегда отбить охоту соваться ко мне на ранчо. Но как, как это сделать? Мне

ничего не приходило в голову.

Я знал, они разыскивают меня с самого января, чуть ли не с того дня, как пропал Анаклето Моронес. Хорошо еще, нашлась милосердная душа, шепнула, что старухи из конгрегации в Амуле меня ищут. Да и кому, кроме них, было дело до Анаклето Моронеса? И вот нате, пожалуйста, добрались-таки до меня.

Оставался один выход: сидеть и заговаривать им зубы, морочить голову. Начнет темнеть — сами уберутся. Провести ночь у меня в доме они не рискнут.

Речь насчет ночлега уже заходила. Дочка Понсиано вдруг сказала, что им надо вернуться в

Амулу засветло, и они хотят скорее решить со мной то дело, ради которого пришли. Но я заявил, что спешить некуда: дом у меня просторный, хватит места на всех, а что кроватей маловато, так на то циновки есть.

Они начали наперебой отказываться: нет, нет, ни за что! Не могут они остаться ночевать со мной под одной крышей. Что про них люди подумают, когда узнают! Нет, и не проси. И я плел всякий вздор, лишь бы задурить им голову, чтобы они забыли, зачем пришли. Я хотел протянуть время до вечера, а там они и сами рады будут унести ноги подобру-поздорову.

— А что сказал тебе муж, — повернулся я к одной из них, — когда узнал, что ты собралась сюда?

— Я безмужняя, Лукас. Я же была твоей невестой, забыл? Все ждала тебя, ждала, так вот и прождалась. Потом люди говорят: женился, мол, ты. А на меня уж никто и смотреть не хочет: состарилась.

— Зря ты меня винишь. Зря. До того с делами закрутился, про самого себя вспомнить некогда. Но это еще поправить можно.

— Поправить? Ты ведь женат, Лукас? И не на какой-нибудь там, а на дочке самого Блаженного. Лучше уж ты меня не тревожь. Я про тебя

даже забывать стала.

— А я нет, я тебя не забыл. Как, говоришь, звали-то тебя?

— Ньевес... Звали... Меня и теперь Ньевес зовут. Ньевес Гарсиа. Не доводи меня до слез, Лукас Лукатеро. Как припомнятся твои сладкие речи, обещания, так всю и затрясет.

— Ньевес... Ньевес. Это ты зря. Я не забыл тебя, нет. Разве такое забудешь... Ты молоденькая была, ласковая. Я помню. Кажется, сейчас только обнимал. Молоденькая, мягонькая. А когда приходила ко мне на свидание, от твоего платья пахло камфарой. Так, бывало, на мне и повиснешь, прилипнешь всем телом,

будто к костям моим прирасти хочешь. Я помню, помню.

— Перестань, Лукас, перестань. Я вчера у исповеди была, а ты меня греховными мыслями смущаешь, в дьявольский соблазн вводишь.

— Ну как же, я тебя все в подколенки целовал. А ты просила: «Не надо!» — щекотно, мол, под коленками. У тебя еще и сейчас там ямочки, а?

— Уж лучше бы ты помолчал, Лукас Лукатеро. Господь Бог не простит тебе того, что ты со мной сделал. Ты дорого за это заплатишь.

— А что я такого с тобой сделал? Разве я бил тебя или неласков был?

— Я плод вытравила. Никогда бы я в этом перед людьми не призналась — ты меня заставил. Бот я тебе и говорю, вытравила я плод. Плод! Так, мяса кусок. Жалко даже не стало. А с чего ей и было взяться-то, жалости, когда отец — бугай бесстыжий.

— Надо же, какое дело! Я про это не знал. Хотите еще миртовой воды, а? Я сейчас приготовлю. Подождите минутку.

И я опять отправился на задний двор нарвать миртовых ягод. Я нарочно замешкался, авось у старухи злость поуляжется.

Когда я вернулся, ее уже не было.

— Она что, ушла?

— Да, ушла. Ты довел ее до слез.

— Вот чудачка, я же просто поговорить с ней хотел, старое вспомнить. Смотрите-ка, что делается — дождя все нет и нет. У вас-то в Амуле, наверно, уже были дожди?

— Да, третьего дня прошел ливень.

— Славное у вас там местечко, ничего не скажешь. Воды вдосталь — и народ в достатке живет. А к нам сюда — об заклад бьюсь — даже облачко не заглянет. Кто же у вас теперь в городском управлении главный? Все еще Рогасиано?

— Все он.

— Хороший он человек,
Рогасиано.

— Подлюга, вот он кто.

— Не знаю, вам оно видней. А как там Эдельмиро? Что, у него лавка все на запоре?

— Окочурился Эдельмиро. И, надо сказать, вовремя, хоть оно и негоже так говорить. Он да Рогасиано — два сапога пара. Вместе на благодетеля нашего Анаклето клепали, какой только не возводили на него напраслины: он-де и суеверству учил, и знахарил, и мошенничеством народ обманывал. Эдельмиро про это на каждом углу трезвонил. Да никто его слушать не хотел, а Господь покарал. Злости в

нем было, как у цепного пса. И смерть собачья: от бешенства издох.

— Да осудит его Господь на вечные муки.

— И да не устанут дьяволы подбрасывать дрова в огонь, на котором он жарится.

— И да постигнет та же участь судью Лирио Лопеса за то, что он взял сторону Эдельмиро и вверх Блаженного Анаклето в узилище.

Втягивать старух в разговор больше не надо было: их прорвало. Я им не мешал — пусть мелют. Лишь бы меня не трогали. Но одна вдруг спросила:

— Пойдешь с нами?

— Куда?

— В Амулу. Ради того мы сюда и пришли. За тобой.

В первую минуту я снова чуть не дал тягу. Через задний двор, до ворот — и в лес. Пускай ищут. У, старые чертовки! Пропадите вы пропадом!

— А на кой мне переться в Амулу?

— Мы хотим, чтобы ты присоединился к нашему ходатайству. Мы, Общество Блаженного Анаклето, объявили девятидневные молебствия в его честь — хотим, чтобы его причислили к лику святых. Ты ему зять, тебе и быть главным свидетелем. Священник сказал, чтобы мы хоть одного человека привели, который хорошо знал

Блаженного и водил с ним дружбу еще до того, как он начал творить чудеса. Мы сразу про тебя и подумали. Ты жил с ним бок о бок, кто же лучше тебя расскажет про его дела милосердия? Значит, без тебя нам никак не обойтись. Будешь в нашем походе первым ходоком.

Старые ведьмы! Тянули резину!

— Я бы всей душой, да никак не могу, — сказал я им. — Хозяйство не на кого оставить.

— А мы уже это обсудили: мы не все уйдем, две девицы останутся. Да еще и жена твоя дома.

— Нет у меня никакой жены.

— Как нет?! Твоя жена, дочка благодетеля нашего, Анаклето?

— Она меня бросила. Выгнал я ее.

— Как же так, Лукас Лукатеро? Вот несчастье-то! Поди, мучается теперь, горемычная. Ведь она же у тебя золото, а не женщина. Да еще и молоденькая. Хорошенькая. Куда же ты ее отправил, Лукас? Может ты просто за какую-нибудь провинность послал ее в монастырь Кающихся? Конечно, на то твоя мужняя воля.

— Никуда я ее не посылал. Выгнал я ее, понимаете! В монастырь Кающихся! Пойдет она, держи карман. У ней только одно на уме: петь, да плясать, да с мужиками валяться. Таскается где-нибудь тут по округе да парней за штаны хватает.

— Не верим мы тебе, Лукас, ни вот настолечко не верим. Она скорей всего у себя в комнате сидит и молитвы читает. Ты ведь враль известный да еще любишь и людей зря оговаривать. Помнишь, Лукас, что вышло с дочками Эрмелиндо? Уехать им пришлось, несчастным, и далеко, в Эль-Грульо. Им народ проходу не давал: покажутся на улице, а уж кто-нибудь распевает: «Веселые девицы...» А кто виноват? Ты. Распустил про них, чего и в помине не было. Нет, Лукас Лукатеро, тебе ни в чем верить нельзя.

— Тогда мне и в Амулу идти незачем.

— А мы тебя сперва к исповеди сводим, вот и будет вера твоим словам. Давно ты не исповедовался?

— Вспомнили! Лет пятнадцать. С тех пор как меня кристеросы чуть не расстреляли. Швырнули на колени перед попом, дулом промеж лопаток тычут — исповедуйся. Такого про себя наговорил, чего и во сне не видел. На всю жизнь вперед исповедался.

— Не будь ты зятем Блаженного, мы бы к тебе ни за что не пришли, а просить тебя и подавно не стали бы. В тебе, Лукас Лукатеро, сам дьявол сидит.

— Что верно, то верно. Недаром же я состоял подручным у Анаклето

Моронеса. А уж он-то был сам сатана, собственной своей персоной.

— Не кощунствуй.

— Просто вы его не знали.

— Мы его знали: он был святой человек.

— А может только святоша?

— Опомнись, Лукас!

— Ничего-то вы не смыслите.

Он поначалу святыми торговал. По ярмаркам. На церковных папертях. А я носил за ним сундучок с товаром. Так и ходили от деревни к деревне, от города к городу. Он впереди шагает, а я с сундучком сзади тащусь. А в сундучке уложены святой Панталеон, святой Амвросий, святой Паскуаль, со всеми молитвами, какие

положено читать в их девятидневки. Арробы на три тянул сундучок.

Попался нам однажды по дороге муравейник. Анаклето встал на него коленями и учит меня, если, мол, язык прикусить, не почувствуешь, как тебя муравьи кусают. А тут как раз богомольцы на дороге показались. Увидели его и остановились: что за чудо? «Почему такое диво? — спрашивают. — Влез на муравейник, а муравьи тебя не трогают?»

Анаклето руки крестом сложил и понес, и понес. Дескать, он только что из Рима прибыл с посланием от Папы, и у него при себе щепочка от Святого Креста, на котором Иисуса Христа распяли.

Они его — на руки. Да так, на руках, до самой Амулы и перли. Ну а там пошло-завертелось. Народ перед ним на колени бухается, о чуде молит.

И началось. Я только рот разевал да глазами хлопал, глядя, как он паломников морочит, которые к нему на поклонение приходили. Народ валом валил.

— Пустое ты плетешь, да еще и кощунствуешь. Ты, когда с ним повстречался, кем был? Свинопасом! А он тебя богачом сделал. Ты все свое добро от него получил. Как же у тебя после этого язык поворачивается говорить о нем худое, а? Бессовестная твоя рожа!

— Нет, отчего. Он меня одел-обул, напоил-накормил, разве я отказываюсь? За это ему спасибо. А что он был сам сатана собственной своей персоной — это тоже верно. Одно другому не мешает. Сатаной он был, сатаной и остался, в раю он или в аду — все равно.

— В раю, в раю он. С ангелами Божьими, вот он где. Хоть тебе и завидно.

— Насчет рая — не скажу, а вот что в тюрьме он сидел — это мне доподлинно известно.

— Что было, то прошло. А из тюрьмы он бежал. И следа не отыскиали. Господь взял его во плоти на небо. И теперь он нас из Царства

Небесного благословляет. Девушки! Станемте на колени. Помолимся, и да будет Блаженный нашим заступником перед Всевышним. Кающихся помилуй нас, Боже!

Старухи упали на колени и начали молиться. Каждый раз, как доходило до «Отче наш», они целовали свои скапуляры с вышитым на них изображением Анаклето Моронеса.

Было три часа пополудни.

Пока они молились, я заскочил в кухню и наспех проглотил две-три ложки фасоли. Когда я вернулся, их осталось всего пять.

— А где же остальные? — поинтересовался я.

— Они ушли, — ответила Панча, и черные волосины на ее верхней губе зашевелились. — Они не хотят иметь с тобой никаких дел.

— Вот и хорошо. Осел со двора — кукуруза цела. Принести вам еще миртовой воды?

Филомена, которая все время молчала, как убитая, — недаром злые языки окрестили ее Покойницей — встала, подошла к горшкам с цветами, сунула себе палец в рот и извергла всю выпитую ею миртовую воду вперемежку с кусочками шкварок и бобов.

— Не нужно мне твоей миртовой воды, нечестивец. Ничего мне твоего не надо. — И она

выложила на стул яйцо, которое я ей дал. — И яиц твоих мне не надо! Ноги моей здесь больше не будет.

Осталось всего четыре.

— И мне бы тоже не худо выблевать твою воду, — заговорила Панча. — Но я уж как-нибудь перетерплю. Нам нужно привести тебя в Амулу любой ценой. Только ты, ты один можешь подтвердить святость Блаженного. Да смягчит он твою черствую душу. Мы уж и образ его в церкви повесили. Нехорошо выйдет, если из-за тебя придется его снять.

— А вы вместо меня другого кого-нибудь подыщите. Мне это ни к чему — в чужом пиру похмелье.

— Но ведь ты был ему за сына. Да еще получил в наследство все добро, что он святостью своей заработал. Ведь на тебя, ни на кого другого, он глаз положил, чтобы укоренить семя свое на земле. Дочь за тебя отдал.

— Верно, отдал. Да только семя-то его в ней еще до меня укоренилось.

— Боже милостивый! Что ты такое говоришь, Лукас Лукатеро!

— А то, что вы слышите. Он мне ее с прибылью отдал, с четырехмесячной — не меньше.

— Врешь, она в святости жила.

— В пакости, а не в святости. А чтобы видели — не святая она, а

сделана из той же плоти и крови, как все, она каждому встречному, у кого охота была смотреть, живот свой показывала. Заголится и выставит пузо, все в багровых прожилках от тягости. Мужики стоят, регочут. Потеха, конечно. А ей и не срамно, совесть забыла. Вот вам и вся правда про дочку Анаклето Моронеса.

— Богохульник ты. Уж чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Мы тебе скапуляр наденем, он из тебя всех бесов изгонит.

— ...А потом нашелся дурак один. Полюбил ее, что ли. Ну и сказал: «Так и быть, рискну, покрою твой грех». Вот она за меня и пошла.

— Не грех это был, а святое

семя Блаженного. Младенчик-то, девочка эта, она же тебе в дар досталась как Божье благословение! Таким сокровищем владеть, от святости рожденным!

— Мелите, мелите давайте!

— Что, что ты сказал?

— Что у дочки Анаклето Моронеса сидела в животе внука Анаклето Моронеса.

— Это ты все выдумал, чтобы опорочить его. Ты всегда мастер был на враки.

— Враки? А как же насчет других? Да ведь он в нашем краю всех девок до одной перепортил. Непременно ему на ночь девушку в комнату надо, чтобы сон его берегла.

— Это он чистоты своей ради. Чтобы в грехе не замараться. Невинностью себя окружал, чтобы она душу его от грязи ограждала.

— Побывали бы у него там ночью — другое запели.

— Неправда, я у него была, — заявила старуха Мелькиадес. — Он меня пригласил, и я всю ночь его охраняла.

— Ну и что?

— Ничего. Под утро, как похолодало, он меня сам чудотворными своими руками одеялом укрыл. А я ему «спасибо» сказала, что он меня теплом своего тела согрел. И ничего другого между нами не было.

— Это потому, что ты ему старовата показалась. Он молоденьких любил, таких, чтоб стиснул ее, а она вот-вот переломится, чтоб аж в ушах треск — будто скорлупки арахисовые разламываешь.

— Безбожник проклятый, вот ты кто, Лукас Лукатеро. Безбожник, каких еще свет не видывал!

Это заговорила Сирота, самая старая из четырех. Глаза у нее вечно были на мокром месте.

— Когда я сиротой осталась, — руки у нее тряслись и по щекам катились слезы, — он облегчил мою сиротскую долю, отца мне заменил и мать. Целую ночь со мной пробыл,

ласкал да утешал, помог горе избыть.

Слезы лились у нее в три ручья.

— Так о чем же ты плачешь? —
спросил я.

— Родителей у меня убили.
Осталась я сиротой, одна-
одинешенька. А лета мои были
такие, что уж не найдешь ни опоры
себе, ни поддержки. За всю-то мою
жизнь одна-единственная и была у
меня ночь, когда благодетель наш
Анаклето обнимал меня утешными
своими руками. А ты грязью в него
кидаешь.

— Он был святой.

— Он был добрей самой
доброты.

— Мы думали, ты пойдешь по

его стопам. Ведь он тебе все свое наследство отказал.

— Наследство! Мешок грехов смертных — вот что он мне отказал. Да еще старухой придурковатой наградил. Конечно, не такой старой, как вы, но уж зато дури у ней на всех на вас хватит. Счастье еще, что с рук ее скачал. Сам ей двери открыл — скатертью дорожка.

— Не плети ереси, богоотступник!

После этого одна за другой ушли еще две. Ушли, пятась и открещиваясь, обещая вернуться с молитвами для изгнания бесов.

Остались две последние.

— Что хочешь говори, — начала

дочка Анастасио, — а чудес ты у нашего благодетеля Анаклето не отнимешь. Он был чудотворец — этого не отнимешь!

— Ребятишек делать — какое же это чудо? Хотя, конечно, по этой части он был мастак!

— Он вылечил моего мужа от сифилиса.

— А я и не знал, что ты замужем. Ты ведь дочь цирюльника Анастасио, да? Помнится, дочка Тачо числилась в девицах.

— Не в девицах, а в незамужних. Девица — это одно, а незамужняя — другое. Сам понимаешь. Девица — это если никогда мужа не было. А у незамужней муж бывает. Я, стало

быть, незамужняя.

— И ты туда же, Микаэла? В твои-то годы!

— То-то и оно, что годы. Поневоле пришлось. А какой мне интерес был в девицах оставаться? Теперь я женщина. Было тебе дано, значит, и ты отдавай, на то и на свет родилась.

— Так и слышу голос Анаклето Моронеса.

— А что же. Это ведь я по его совету — чтобы колика в печени прошла. Вот и завела себе мужа. В пятьдесят-то лет девичество блюсти — грех.

— Это тебе Анаклето Моронес сказал?

— Да, это он мне сказал. Только мы к тебе за другим пришли: ты пойдешь с нами и подтвердишь, что он был святой.

— А может, святой-то вовсе я?

— Ты не совершил ни одного чуда. А он мужа моего спас. Уж это мне доподлинно известно. Или может, ты тоже кого от сифилиса вылечил?

— Нет, я и в глаза не видал, как этой болезнью болеют.

— А это как бы антонов огонь такой, тело все багровое сделалось и пятнами пошло, вроде синяков. Сна человек лишился. Перед глазами, говорит, все как в огне, будто к черту в пекло заглянул. И жжет так, что

скакал он по всему дому, терпеть мочи не было. Мы и пошли к благодетелю нашему, к Анаклето, и он его исцелил. Прижигание ему сделал горячей тростинкой, а по обожженному слюной своей помазал. Как рукой сняло. Вот и скажи, чудо это или нет.

— Это у него просто оспа была ветряная. Меня тоже слюной мазали, когда пацаном был.

— Ну, разве я не говорила? Безбожник ты, закоренелый безбожник.

— Одно утешение — Анаклето Моронес был еще похуже меня.

— Он с тобой как с родным сыном. А ты еще смеешь... Нет, я и

слушать тебя не хочу. Ухожу я. Ты что, Панча, остаешься?

— Я еще посижу. Попробую в последний разок, с глазу на глаз, авось вражью-то силу и одолею.

— Послушай-ка, Франсиска, останешься у меня ночевать, а? Ушли они.

— Упаси Господь! Что люди обо мне подумают? Я одного хочу — уговорить тебя.

— Хорошо, вот и давай: ты меня уговоришь, а я тебя. Какой тебе убыток? Ты подумай, кто на такую старуху, как ты, польстится? Из жалости и то ни один в твою сторону не посмотрит.

— Да, а после языками начнут

трепать. Дурное про меня думать.

— Ну и пусть себе думают. Плюй на них. Тебя не убудет — как была Панчей, так Панчей и останешься.

— Ладно уж, где наше не пропадало — придется заночевать. Но только я до первого света. А ты слово дай, что пойдешь вместе со мной в Амулу, тогда я им скажу, что всю ночь тебя упрашивала да уламывала. А то как же я оправдаюсь.

— Будь по-твоему. Но ты сперва свои усы подстриги. Я тебе сейчас ножницы принесу.

— Насмехаешься ты надо мной, Лукас Лукатеро. Все во мне изъяны

высматриваешь. Ты моих усов не тронь. А то еще догадаются.

— Ну, что с тобой делать. Договорились, идет.

Начало вечереть. Она помогла мне сплести из ветвей навес для кур, подобрать кругляши, которые я раскидал по всему двору, и снова сложить их кучей в углу, где они лежали прежде.

Моим гостям и в ум не запало, что под камнями зарыт Анаклето Моронес. И, уж конечно, не догадались они, что преставился он в тот самый день, как бежал из тюрьмы и явился ко мне требовать, чтобы я вернул назад его добро.

Примчался он тогда и говорит:

— Продай все, а что выручишь, — мне, на Север думаю подаваться. Я тебе оттуда напишу, и опять станем работать на пару.

— Ты бы уж и дочку свою заодно прихватил, — говорю. — Из всего моего добра, про которое ты сказал, что оно твое, только ее одну мне и не нужно. Даже меня ухитрился ты объегорить!

— Вы после приедете, я напишу вам, где обосновался. Там и разберемся, что да как.

— Нет уж, если разбираться, давай сейчас, чтоб все было ясно. Раз и навсегда.

— Слушай, — говорит он, — я сюда пришел не шутки шутить. Ты

мне мое отдай. Деньги небось припрятанные есть?

— Кое-что имеется. Только ты на них не рассчитывай. Дочечка твоя бесстыжая у меня в печенках сидит. А я ее кормлю-пою. Так что мы с тобой в расчете, и еще спасибо скажи.

Ну и раскипятился же он! Ногами затопал, а время-то не ждет, уходить пора...

«Покойся с миром, Анаклето Моронес! — говорил я, засыпая могилу. Потом я повторял эти слова каждый раз, как возвращался с реки с грузом камней для могильного холма. — На какие хитрости ни пускайся, отсюда-то уж тебе не

выбраться!»

И вот теперь Панча помогала мне снова заваливать могилу камнями. Если бы она знала, что это — могила и что лежит-то там Анаклето Моронес! Ведь камнями я его заваливал, чтобы он оттуда не вылез и сызнова не пришел ко мне расчетов требовать. От такого пройдохи всего ждать можно: изловчится, воскреснет и опять на свет Божий выберется.

— Давай сюда еще камней, Панча. Все сюда клади, в этот угол. Не люблю, когда во дворе под ногами камни валяются.

Перед рассветом она мне

сказала:

— Ты все нахрапом, по-звериному. Нет в тебе ласковости, Лукас Лукатеро. А знаешь, кто умел женщину приласкать?

— Кто?

— Анаклето, благодетель наш. Вот кто в любовном деле был дока.

notes

Примечания

Юнта — мера площади, участок, который распахивает за день упряжка быков.

Текеските — разновидность соли, известная в Мексике с древнейших времен.

Техокоте — дерево с плодами,
похожими на сливы.

Аксолотль — личинка
мексиканской амбистомы
(саламандры).

Напаль — кактус с небольшим количеством шипов.

Арама — птица семейства
пастушковых журавлей.

Сарапе — накидка с отверстием для головы.

Мариан Андерсон (1902–1993) — американская певица негритянского происхождения.

Арроба — мера веса: 11,5 кг.

Гарамбульо — съедобные плоды
одноименного кактуса.